



Николай **Н**аседкин

Туд бай, тай...

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

Р о м а н - н о с т а л ь ж и

18+

Николай Наседкин

Гуд бай, май... Роман-ностальжи

«ЛитРес: Самиздат»

2010

Наседкин Н. Н.

Гуд бай, май... Роман-ностальжи / Н. Н. Наседкин — «ЛитРес: Самиздат», 2010

Это своеобразный «донжуанский список» автора-героя книги. Ему захотелось и самому понять, и небесам, что ли, попробовать объяснить — почему каждый роман с очередной женщиной (или почти каждый) непременно заканчивался, обрывался, умирал, оставляя зачастую рубцы на сердце и стонущую, не затихающую с годами боль в душе? В книге, несмотря на тему, нет порнографии, но чувственности и страстей в избытке. Она написана на пределе откровенности и исповедальности. Впервые роман вышел в московском издательстве «Голос-Пресс» в 2010 году. Содержит нецензурную брань.

© Наседкин Н. Н., 2010

© ЛитРес: Самиздат, 2010

Содержание

Оправдание мазохизма	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	11
1. Ира	11
2. Люда	13
3. Наташа I	17
4. Галя	20
5. Прима	37
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	42
6. Лида	42
7. Фая	51
8. Люба I	57
9. Маша	61
Конец ознакомительного фрагмента.	69

*Всем девочкам, девушкам и женщинам,
которых я любил; но особенно тем,
которые любили и любят меня –
с грустью, нежностью и благодарностью.*

Любить... но кого же?..

М. Ю. Лермонтов

Оправдание мазохизма

«Донжуанский список Пушкина» – это, конечно, смешно...

Но вдруг с возрастом и самого потянуло составить, так сказать, реестр любовных побед – проинспектировать, проревизировать, обозреть, детально вспомнить и проанализировать все свои романы-увлечения, поностальгировать всласть, подвести своеобразный (надеюсь – ещё только предварительный!) итог своей любовно-сексуальной жизни. А что, Пушкину можно, а нам, простым смертным, низ-з-зя?!

И сделать это потянуло не только из праздного любопытства, тщеславной дури или патологической тяги к мазохизму (страданий-то – и нешуточных – увы, хватало!): нет, захотелось и самому понять, и Небесам, что ли, попробовать объяснить – почему каждый роман (или почти каждый) непременно заканчивался, обрывался, умирал, оставляя зачастую рубцы на сердце и стонущую, не затихающую с годами боль в душе? Впрочем, про «рубцы» и «боль» – это, может быть, всего только романтические сопли и литературное кокетство: ведь ясно же как Божий день, что не оборвись, пусть и болезненно-катастрофично, предыдущий роман – не начался, не завязался бы новый. Не уйди из моей жизни-судьбы очередная Наташа, не вошла бы в неё очередная Лена – ещё более красивая, желанная и неповторимая...

Своеобразным толчком к замыслу данного романа о романах послужил и реальный случай. Дело в том, что я несколько неожиданно даже для самого себя попробовал-таки на вкус проститутку. В своём предыдущем романе «Люпофь» я от имени главного героя, моего ровесника, весьма хвастливо рассуждал, что, мол, вот уже шестой десяток разменял, а «ни разу в жизни не пробовал проститутку, никогда не платил денег женщине за трах-тибидох». А тут обстоятельства так сложились-подыгрались, да и мысль разумная всё же посетила кичливую голову: чем гордиться-то, «пысатэл» хренов? Жизнь, дорогой мой, надо познавать во всей её полноте. Считаешь себя прозаиком-реалистом, а о таком обширном пласте жизни-бытия, как сфера платных секс-услуг, представление имеешь только по книжкам да киношкам.

И тут, повторяю, как специально, жизнь сама подтолкнула к разврату (ну а как ещё всё это назвать-обозначить?): поехал в отпуск к морю, в Крым, в Севастополь один-одинёшенек – ни жены с собой, ни любовницы (кто ж в Тулу со своим самоваром-то?!). Оно бы и ладно, на югах вполне и солнца с морем для развлечения хватает, но в этом году погода крымская учудила: дня на три южная синева небес затянулась непроницаемым асбестом мрачных туч. Вот и затосковали душа и тело, вот и пришла в голову крамольная мысль при просматривании местной рекламной газетки: а не законтачить ли мне с какой-нибудь гетерой-надомницей, объявления которых густо лепились на газетной полосе?

Эти объявления-призывы на вид поражали своей лаконичностью и скромностью содержания: в большинстве своём только имя (Катя, Ольга, Людмила, Галя...) и номер сотика (представляю, как облегчила и упростила *работу* жриц любви мобильная связь!). Но некоторые объявления выделялись-привлекали редкостью имён, надо полагать, псевдонимами: Вероника, Алиса, Карина, Снежана. Иные приморские куртизанки умело подпустили в тексты чуть-чуть экзотики, намекая или на цвет кожи, или на молодость и наличие мозгов, или на внешние данные, или, наконец, на особенности своего подхода к делу и телу, уведомляя: «мулатка», «студентка», «симпатичная и высокая», «нежная и раскованная», «без комплексов»... Ну и совершенно умиляли рекламные изыски-ухищрения некоторых объявлений: они были выделены жирным шрифтом, а отдельные даже и забраны почему-то в траурную рамочку (может, с намёком, что тебя там зацелуют до смерти и ты умрёшь от наслаждения?).

Я однако на рамочки-шрифты да экзотику не клюнул, решил обзванивать подряд по списку, выясняя у потенциальных «возлюбленных» всего два параметра: прејскурант цен и возраст (тут уж не до джентльменства!). Что ж, в первом пункте расхождений не было, такса

у всех твёрдая и однообразная – 150 гривен за час. В пересчёте на баксы – это 30; на рубли – 825. Сразу стало ясно, что украинский антимонопольный комитет явно филонит – ведь налицо сговор предпринимательниц-монополисток! Что касемо возраста, то выяснилось, что самые молодые годятся иным своим товаркам по секс-бизнесу в дочери – 22-44 года. Естественно, я, старый козлотур, пометил галочками двух самых молодых – «симпатичную и нежную» Лену (22 года) да просто Катю (24).

Но тут мне на глаза попала группа объявлений, предваряющая зазывы блудниц-надомниц. Да и как было не заинтересоваться! «Расслабляющий массаж», «Откровенный массаж ласковых девушек», «Массаж “Удовольствие”, симпатичные», «Массаж “Экстази”», «Эротический массаж “Водопад наслаждения”»... Подумалось: эге, это как раз то, что нужно для таких новичков в деле изучения-познания мира платной любви, как я – так сказать, переходный, подготовительный и обучающий этап. Цена в массажно-«расслабляющей» сфере тоже оказалась монопольно-стабильной, но в двух вариантах в зависимости от степени одетости-раздетости массажисток: в купальниках – 60 гривен (12 баксов); полностью обнажённые – 80 (16). В отдельных салонах за 80 предлагали девушек-топлес, но я, естественно, на такую халтуру не клюнул. Специфику обслуживания тут же поясняли по телефону: получите, мужчина, натуральный расслабляющий массаж с обязательным оргазмом в финале... М-м-мда! А я-то всегда полагал, да и опыт мне подсказывал, что для получения оргазма требуется не расслабление, а возбуждение. Одним словом, любопытство моё уж точно возбудилось и воображение разыгралось. Зажав 80 гривен в потном кулаке, я отправился в путь.

Обыкновенный панельный дом, третий этаж, дверь обычной квартиры в стандартном дерматине. На звонок в проёме появилась девушка в одном бикини.

– Вы к Оле? – деловито спросила она, поправляя бретельку.

– Не знаю... – замылся я, выравнивая дыхание, – Я звонил полчаса назад...

– А-а, значит, не ко мне. Я – Оля, жду своего клиента. Проходите, проходите. Сейчас я Машу позову – она вас обслужит...

В прихожую вышла Маша, тоже прикрытая лишь двумя мини-полосками голубой ткани. Я про себя охнул. Если Оля была обычной молодой девчонкой, вполне смазливой, то Маша оказалась натуральной красавицей. К такой я на улице и подойти бы не посмел: светлая шатенка лет двадцати пяти на полголовы выше меня – короткая стильная стрижка, огромные карие глаза, загорелая гибкая фигура, мягкая и какая-то застенчивая улыбка...

– Здравствуйте! Проходите вот сюда, ко мне...

Я чуть было не кинулся по извечной расейской привычке разуваться в коридоре, но Маша меня удержала. В комнате из мебели имелись только стул, тумбочка с DVD-проигрывателем и в центре – ложе-топчан, застеленный белой простыней. Окна наполовину зашторены. Мягкий полумрак.

– Вам за шестьдесят или за восемьдесят? – с милой улыбкой спросила красавица.

– Нет, мне всего лишь чуть за пятьдесят... – хотел пошутить я, но не смог (чёртово смущение!) и лишь промямлил: – Мне по полной, за восемьдесят...

– Тогда раздевайтесь, – ещё более мило улыбнулась Маша.

– Что, совсем? А вы? – совсем уж глупо спросил я.

– И я тоже разденусь, – даже засмеялась она, тут же скинула лифчик и трусики и, стоя передо мной прекрасной бронзовой статуей (загорала она, сразу было видно, без купальника), молча ждала.

И в сей момент, забыв про смущение, я действительно начал получать-испытывать наслаждение: одна только мысль, что ещё буквально пять минут назад я вот эту юную шоколадную раскрасавицу и знать не знал, не мечтал даже словом с ней перемолвиться, и вот мы с ней наедине в комнате, она стоит в двух шагах от меня совершенно обнажённая (какая грудь, Боже,

какая у неё грудь!!!), смотрит с улыбкой на мой стриптиз и готова начать меня по крайней мере гладить-ласкать руками...

И вот я уже голышом лежу вверх гузном на топчане, звучит тихая музыка, в комнате разливается аромат благовоний, кои Маша лёгкими поглаживаниями ладошек втирает мне в спину, участливо-заботливо приговаривая:

– Загар у вас свежий, кожа чуть обожжена, я постараюсь очень и очень нежно...

И уж постаралась! Я, конечно, изо всех сил пытался расслабиться, но что-то мне всё более и более мешало лежать вниз животом. Особенно, когда Маша-искусница начала, как я догадался, с определённым умыслом так низко склоняться над моим бранным телом, что соски её взялись горячить и обжигать мою свежезагоревшую кожу спины. При этом она со своим гладко выбритым лоном то и дело заходила со стороны моей головы, так что картинка прямо перед моими вытаращенными глазами представляла ещё та!

Короче, когда девушка попросила меня перевернуться, я предстал перед её очами, что называется, в полной боевой готовности и даже вновь почувствовал смущение. Но и это ещё не всё: я вдруг ощутил-почувствовал на своей шее и мочках ушей её губы, а рука её всерьёз и в полном смысле взялась за моего вздыбленного дружка... Какой тут, к чёрту, массаж! Это были уже всамделишные поцелуи, натуральные любовные ласки, прелюдия! Я, совершенно потеряв голову и чувство реальности, тоже дал волю рукам и губам – пальцами взялся проникать в самые потаённые места явно тоже возбуждённого, наполненного влагой желания девичьего тела и целовать-облизывать грудь, шею Маши... Вскоре я услышал её лёгкий стон, понял, что она сама уже испытала-получила оргазм, и, не успев сдержаться и отдалить момент, по-мальчишески быстро и бурно приплыл-разрядился...

Пока виновница заботливо вытирала живот мой салфетками, я, ещё разгорячённый сверх меры, взялся жарко подкатываться с гнусными предложениями: мол, Машенька, нельзя ли за дополнительную плату – по-настоящему?.. Но Машенька, как мне показалось, с грустинкой отнекивалась: нет, дескать, нельзя, им запрещено, она может работу потерять, для этого есть совсем другие девушки и по другим объявлениям... Что ж, и правда, я вспомнил, что впереди меня ждут новые встречи-приключения на этом развратном пути и утомился. Я ещё лежал минут десять на топчане, отдыхая, Маша присела на краешек в ногах, и мы с ней, два голых и вполне счастливых человека, мило поговорили-побеседовали «за жизнь». Я узнал, что Маше 24 года (а она искренне удивилась и не могла поверить, что мне уже за пятьдесят – вот уж порадовала-утетила!), что кончила Симферопольский университет, попробовала служить учительницей... Здесь они работают по две девушки в смену, по семь часов: первая смена с 10 утра до 5 вечера; вторая – с 5 вечера до 12 ночи. Тяжело, конечно...

– Маша, – не удержался от вопроса я, – а вот таким, как вы, наверное, особенно тяжело?

– Каким? – не поняла она.

– Ну... не холодным, не фригидным... Что ж вы, всю смену вот так напрасно «горите-полыхаете»?

– А может, это я только с вами так? – кокетливо улыбнулась она. – Может, вы мне понравились...

Я польщён ухмыльнулся, нежно, как бы по праву уже родного и близкого, погладил её грудь.

– Вот на этой приятной ноте и закончим. Что – в душ?

– В душ, – засмеялась она, проводила меня в ванную, дала полотенце.

Момент расплаты чуть смазал лиричность настроения, да ещё и сдача мне понадобилась со ста гривен (мысль в голову впорхнула: «на чай» здесь дают или нет?), но зато в самый последний миг расставания-прощания неожиданно добавилась юморная нотка: я уже за порогом говорил Маше «спасибо» и «до свидания», Маша, успевшая надеть трусики, но с ослепительно голой грудью, улыбалась мне напоследок из проёма двери, как вдруг дверь соседней

квартиры распахнулась, вышла бабуса с мусорным ведром, глянула в нашу сторону и от всей своей пенсионерской души смачно сплюнула:

– Тьфу на вас, бесстыдники!

Мы с Машей невольно прыснули.

Неторопливо шествуя по вечернему Севастополю, довольный и мурлыкающий, я вполне здраво вдруг подумал: если мы оба с Машей одинаково получили оргазм-удовольствие от так называемого массажа, то за что я тогда гривны платил?! Но я тут же одёрнул-притушил свою меркантильность: о чём разговор! Господи, да если б мне послезавтра не уезжать, я бы через день да каждый день таскался на массажные сеансы к Маше с последними гривнами, да ещё и, глядишь, влюбился бы, втюрился в неё по самое-самое не могу...

Естественно, на нечто аналогичное по степени приятности и кайфа настроился я на следующий день, отправляясь в гости к надомнице Кате. Поначалу я намеревался нагрять с визитом к самой молодой и «симпатичной и нежной» Лене (тем более, имя для меня – *знаковое*), но мобильник у неё в это время оказался недоступен, надо полагать, она обслуживала клиента, так что пришлось переключиться на «дублёршу» Катю. Сотик её сразу откликнулся, голос девушки оказался приятным, добавило интересу и то, что жила-работала она аккуратно в том же районе, что и массажный салон с красавицей Машей, почти по соседству, на проспекте с характерным названием – Октябрьской Революции.

В доме оказалась коридорная система. Нажимая кнопку звонка с нужным номером, я подумал: «Может у этой Катюши и фамилия ещё – Маслова?» Дверь приоткрылась, и я испытал первый шок: выглянули одна за другой две детские мордашки. Ни хрена себе! Но, слава Богу, тут же выяснилось, что эти две девчушки – соседские, просто играют в общем коридоре. Второй предтравматический шок я испытал, когда пригляделся к Катерине: она явно была старше заявленный 24-х лет по крайней мере годков на 5-6, к тому ж хотя и не уродка, но совсем не в моём вкусе – брюнетка с лишним десятком килограммов, грудью размера 4-го и глазами навывкате. Над поясом джинсов нависал пупок с пирсингом. От пирсинга меня всегда подташнивает... Видно, углядев что-то в моём взоре, она без всяких яких спросила:

– Ну что, остаётесь?

– В каком смысле? – сыграл под дебила я.

– Ну если не нравлюсь, можете уйти. Я не в претензии...

Мне бы и последовать мудрому совету (там же где-то «моя» юная Лена, «симпатичная и нежная», уже, поди, освободилась!), но врождённая псевдоинтеллигентная деликатность и дурацкая инфантильность удержали меня. Да и подумалось: ладно, мне ж не влюбляться, я ж за знаниями-ощущениями пришёл – вот и узнаю на собственном опыте, сможет ли меня *такая* профессионалка расшевелить?

И я шагнул за порог...

Ну что тут рассказывать? Катя (а позже выяснилось, что на самом деле она – Инна: вот тебе и теория экзотических псевдонимов!) долго поила меня на кухне жидким чаем, дымила едкими сигаретами, пытаясь вести светскую беседу, зачем-то призналась, что у неё не было никого уже несколько недель, поведала, как рассорилась вусмерть с женихом и якобы из-за этого подалась в краснофонарный бизнес... Затем мы, конфузясь (она-то с какой стати?!), молча разделись в комнате, завалились в постель, Инна-Катерина долго и не очень ловко пристраивала-натягивала мне дешёвый презерватив, потом, шумно сопя и чмокая, старательно делала минет...

Для меня резинка в этом процессе была новшеством, сразу не понравившемся, да и очень быстро убедился я, что на работе девушка совершенно не пылает, не горит, и сам окончательно поскучнел. Кое-как довела она оральный этап до конца, ещё с четверть часа мы повалялись в постели, пытаясь поддерживать разговор и надеясь (она, по крайней мере) на продолжение сеанса. В конце концов, она напрямую спросила:

– Ну что, трахаться-то будем?

Я промямлил что-то про усталость, головную боль, оделся, выложил родимых 150 гривен на край стылой постели и отправился восвояси. В голове на этот раз звучали строки незабвенного Высоцкого: «Нет, ребята, всё не так! Всё не так, ребята!..» Было, без дураков, и скучно, и грустно (это уже – привет Михаилу Юрьевичу!).

И вот в сей печальный момент и забрезжил в моей голове замысел данного повествования. Подумалось: ну с чего это я попёрся к позорной проститутке? Видимо, я действительно, как автобиографический герой моего романа «Люпофь», сексом могу заниматься только по любви или хотя бы по влюблённости... Ну почему нет рядом со мной – здесь и сейчас – любимой женщины? Где они, куда они все подевались-сгнули – мои любимые, мои *разъединственные*, мои неповторимые, мои желанные, мои *вечные*? Были ли они в моей жизни-судьбе?

Пришед домой, я взял у квартирной хозяйки несколько листков бумаги и на первом написал: «“Донжуанский список Пушкина” – это, конечно, смешно...»

А потом задумался: так ведь и мне надо подобный список составить и для начала попробовать разобраться – кто же из данного списка претендует на звание-статус «любимой», а кто проходит по разряду «ошибка молодости» и «случайная связь»? Составление такого списка, оказалось, – задачка не из лёгких. Уже из Севастополя давно вернулся, а он всё уточнялся-полнился. Наконец, перевалив за цифру 60, я понял, что всё равно полноты и исчерпанности реестра вряд ли удастся достигнуть (сколько мимолётных связей-контактов случилось по пьяни, в угарном беспамятном бреде, особенно в юности!) и решил поставить точку. Да и при чём тут количество? Всё равно мне до показателей, допустим, французского писателя Жоржа Сименона и в кошмарном сне не приблизиться (свыше десятка тысяч женщин!), так что нечего вспоминать одноразовых профур-шалашовок, с которыми шутница Судьба порой сталкивала меня на жизненном пути.

Да, решено, буду вспоминать-анализировать только *настоящие* романы, вызывать из прошлого только тех девушек и женщин, с которыми была у нас взаимная любовь, которые навсегда остались в памяти, судьбе моей, стали частью моей жизни, наполняли её счастьем и страданием...

Итак, сердце моё, в путь – в глубины прожитых лет и памяти.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. Ира

Первое женское имя в моей судьбе – Ира.

Это было в Сибири, в райцентре под Абаканом. Конечно, школа; конечно, ещё начальная. И вообще – первый класс. Причём, всё было перевёрнуто с ног на голову: не я влюбился, а – в меня.

Не буду повторяться: случай этот – более комичный, чем лирический – я описал в своей повести «Казнить нельзя помиловать». Причём сцена дана через восприятие не героя, моего в данном случае альтер эго, а – маленькой героини Юлии, прототипом которой в том эпизоде и послужила моя одноклассница Ирочка.

...Самая начальная заноза в душе её осталась после милого детского порыва, которому она поддалась в младенческие годы. Кому рассказать – хохотать будет, а для неё, девочки-первоклассницы, то была настоящая трагедия.

Этот мальчишка с льяныными кудряшками и васильковыми сияющими глазами сразу поразил Юлю, как только она увидела его впервые на празднике «Здравствуй, школа!». И когда они попали в один класс, да ещё их посадили за одну парту, Юля окончательно влюбилась. Она не знала, что в таких случаях принято делать, долго мучилась, потом решила для начала хотя бы объясниться. И вот на перемене, когда, как показалось Юле, все убежали из класса, она придержала мальчишку за рукав.

– Пойдём, чё-то скажу...

Она повела своего избранника в самый дальний угол, к шкафу с наглядными пособиями, и там, не глядя ему в глаза и до слёз вспыхнув, она выговорила.

– Я тебя люблю!

И гром грянул. Вернее – смех. Видимо, от волнения Юля не заметила двух мальчишек на первой парте у окна. Теперь они заливались, хватаясь за животы, показывали на неё пальцами.

Юля совсем вспыхнула и сквозь брызнувшие слёзы глянула на своего голубоглазого Ромео – защити! А тот вдруг тоже заревел, затопал ножками и кинулся на неё с кулаками.

– Отстань, дула! Лебятя, она – дула!..

Юлю этот трагикомический случай травмировал, сделал замкнутой, недоверчивой к мальчишкам. Когда многие её одноклассницы уже начали дружить, даже самые неприметные, Юля продолжала существовать в гордом одиночестве...

(«Казнить нельзя помиловать»)

Выдам небольшую творческую тайну. Так как настоящим прототипом героини повести была совсем другая и более поздняя моя возлюбленная – Марина (о ней – в своём месте), совсем с другой внешностью, то «льяныные кудряшки и васильковые сияющие глаза» Ирочки я подарил герою-мальчишке. Ну и для усиления драматизма добавил в сцену двух одноклассников-насмешников, коих в реальном жизненном эпизоде я не помню. Но вот этот жгучий стыд

и растерянность, окативших меня в момент первого признания мне в любви, запомнился ярко, впечатался в память. И чего я так перепугался-сконфузился?

С Ирой мы учились почти до выпускного класса вместе. С годами она стала совсем красивой, характер у неё был вполне милым, училась хорошо... Чего бы, казалось, и мне не влюбиться? Помню даже, что в классе 4-м Ира ещё раз повторила попытку сближения со мной: ей купили велосипед, и мы провели почти целый день вместе – то ли я учил её кататься на велике, то ли она меня... Увы, почему-то даже и дружбы-приятельства не получилось – так и остались просто одноклассниками. Видно, тот стресс первоклашки-«недотроги» крепко мне помнился.

Вскоре после школы Ира вышла замуж за какого-то сержанта-милиционера (хотел написать «мента», но тогда слова-понятия такого не было), жила с ним, по слухам, не очень счастливо.

Спустя много лет, уже почти сорокалетним, я приехал после длительного перерыва в родное село – хоронить матушку. На следующий день после похорон-поминок, уставший и помятый, в панцире скорби, я брёл по улице, вяло поглядывая по сторонам. Меня окликнули по имени. Я остановился, оглянулся – женщина в нечёсанных белесых куделях, с блёклыми глазами на ещё более чем у меня опухшем и помятом лице...

– Не узнаёшь? – горько и понятливо усмехнулась она. – Я – Ира... Ирина (она назвала фамилию)...

Сердце моё сжалось-скукожилось, и в памяти, словно высверк – её тогдашний нежный девчоночий голосок: «Я тебя люблю!»

Нет мне прощения, но я молча махнул рукой, повернулся и пошёл прочь.

2. Люда

В Люду втюрился-влюбился уже я.

Это было в 8-м классе, когда девчонки-одноклассницы вдруг за одно лето расцвели-повзрослели, фигуры их волнительно округлились, глаза, ещё неумело подкрашенные тушью, приобрели некую притягательную для нас, пацанов, таинственность, и в голосах, особенно во время смеха, начали проскальзывать странные – зазывные! – нотки... Сейчас, рассматривая фотографии, я понимаю, что не была Люда такой уж красавицей – обыкновенная слегка курносая девчонка с чёлкой, но вот, поди ж ты, – втрескался, страдал...

С Людой мы не только учились в одном классе «А», но и были почти соседями, жили через дорогу. Правда, дома наши весьма отличались друг от друга: Людочкин можно было назвать хоромами; наш – хибаркой. Это добавляло свои сложности в развивающийся роман: ну не мог я пригласить Люду в гости, в нашу убогую избушку-комнатушку, где мы ютились втроём – я, матушка и сестра...

Впрочем, насчёт «развивающегося романа» я слегка погорячился. Люда, увы, не спешила отвечать на моё «чуйство». Что-то у нас не очень клеилось. То ли я чересчур робко проявлял свою любовь, то ли выглядел в её глазах не очень-то казисто... Помню несколько эпизодов, кои в то время воспринимались драматично и даже трагично. К примеру, как униженно упрашивал я классную руководительницу (слова «классуха» тогда тоже не было), чтобы она посадила меня за одну парту с Людой, но Тамара Сергеевна из каких-то там педагогических соображений напрочь мне отказала. Вот уж обида и тоска мучили – до слёз!

Или как однажды мы убивали время тёплым осенним вечером уличной компанией возле дома Людочки (и слова «тусовались» ещё не было!) – болтали, толкались, играли в «глухой телефон» и «города». И вот я, видно, от избытка и восторга чувств, что Людочка рядом сидит, я чувствую плечом её тёплое (горячее!) плечо, слышу серебристый (ну а какой же ещё!) голосок у самого уха, впал в такую эйфорию, что раздухарился сверх меры и так толкнул мою ненаглядную кралячку, что она кубарем слетела со скамейки. Это бы ещё ничего, но она так неудачно приземлилась, что пальтецо вместе с платьем задралось сверх меры и насмешливому народу предстали во всей интимной красе голубые панталончики Люды и чулки с резинками... Она вскочила, одёрнула одежду, отчаянно, совсем по-детски заплакала-зарыдала во весь голос и опрометью бросилась домой. Мои муки-страдания описать невозможно! Я уже курил тогда и от дешёвых и забористых сигарет «Прима», кои я, прикуривал одну от другой, жёг стремительно – разлетались фейерверки искр...

Немного неловко вспоминать и то, как я, уже сжигаемый не совсем платоническими чувствами и помыслами, возмечтал увидеть мою Людочку в домашнем неглиже. Ну, конечно, на речке мы иногда купались вместе, я видел её в купальнике, но это было всё-таки не то. Хотя, признаюсь, когда делали мы заплывы вниз по течению нашей изумительно прозрачной реки Абакан, я нырял-уходил под воду и, насколько хватало дыхания, торчал там, любясь вблизи почти совсем обнажённым телом своей пассии.

Так вот, так совпало-случилось, что ближайшие соседи Люды куда-то уехали надолго. Я знал, что комната её выходит окнами прямо в соседский двор. И вот, бесстыдник, я вон чего придумал: вскочил по будильнику в несусветную рань, подобрался к окну Людиному и приготовился лицезреть тайное и сладкое. Облом! Шторы оказались плотно задёрнутыми. Тогда я отправился на вахту вечером, когда стемнело. На этот раз мне повезло: и плотные шторы на сей раз ещё почему-то были открыты, а сквозь тюлевые всё отлично просматривалось, и Люда была в комнате, в домашнем халатике – подметала пол веником. Я на неё полюбовался, высовывая свой чуб над карнизом, попредвкушал, как она после уборки начнёт ко сну гото-

виться, раздеваться, постель стелить... И она действительно начала постель стелить. Дыхание моё участилось...

Впрочем, не буду заново повторяться-живописать – сцену эту описал я впоследствии в рассказе «Встречи с этим человеком», соединив её со сценой уже из другого, следующего моего романа, ибо прототипом героини «Встреч» была уже Галя.

...Я издали её любил. Провожал её тоже на расстоянии. А по вечерам на свидания ходил. С её окнами. Стоял часами и смотрел театр теней. И сердце шевелилось в груди, как большой кролик в тесной клетке.

Раз даже охамел до смелости, в темноте перевалился через итакетник палисадника, пробрался между клумбами и к её окну нос приплющил. Одна штора – моя союзница! – чуть завернулась, и я увидел...

Она стояла боком к окну и разбирала постель. Задумчиво, медленно сложила пополам, потом вчетверо розовое покрывало, повесила на спинку стула. Откинула одеяло в ослепительно белом пододеяльнике. Взбила розовую подушку. Подошла к трюмо у противоположной стены, взяла гребень и провела несколько раз по светлым своим волосам. Потом достала розовую ночную рубашку из шкафа и положила на кровать.

«Надо уходить!»

Люся пробежала пальцами по пуговичкам домашнего халатика и скинула его. На ней были только розовые трусики и какой-то девчоночий, видимо, самодельный беленький лифчик. Она мягко перегнулась, растянула его и зыбким движением выскользнула плечами из бретелек. Я, задыхаясь, увидел два нежно-розовых кружочка, рдеющих на пронзительно белых беззащитных холмиках... Вдруг она вздрогнула бросила взгляд на окно и потянулась к рубашке.

Я рванулся напролом сквозь колючую акацию. Обжёг лицо. С маху саданулся о итакетник. Отлетел. Вскочил. Перебросился через него и, шатаясь, пошёл. Я бродил до рассвета. Щёки мои горели, под ложечкой сладко ныло, в глазах всё было белым и розовым, белым и розовым...

(«Встречи с этим человеком»)

На самом деле (уж признаюсь!) до *стриптиза* на сей раз не дошло: в самый пиковый момент, когда Люда уже приготовилась растянуть халатик, я, видимо, от волнения потерял осторожность и карниз жестяной тренькнул. Она встревожено глянула в сторону окна. Я нырнул вниз, затаился. Переждав, как мне думалось, разумное время, я осторожно начал подниматься с корточек, высовывать голову и – глаза в глаза, что называется, встрепенулся с Людой. Секунд пять мы напряжённо, в явном шоке друг на друга смотрели, затем я подхватился, метнулся, взлетел птицей на высокий забор, сорвался с него, ободрал всё что мог и бросился прочь. И потом долго стеснялся смотреть Люде в глаза. Она, правда, делала вид, что ничего не было.

Ну а, можно сказать, апофеозом моей любви к Люде стал случай, который вставил я позже в автобиографическую повесть «Муттер». Там, восстанавливая в памяти свои дни рождения, я вспомнил и то, как отмечал 15-летие:

...Анна Николаевна была убеждена: не еда на празднике господин, а – гости, беседа, общение. Я же с каждым годом становился всё более и более убеждённым материалистом. И вот на своё 15-летие я напроць, наотрез отказался от услуг, помощи, содействия и вообще какого-либо участия матери в юбилейном банкете. Я вытребовал только: выдать мне тугрики и уйти из дому часов на пять. Этим я обеспечивал весьма удобную позицию: за столом я мог шутиливо хехекать (я и хехекал!), пренебрежительно махать рукой (я и махал!), с намёком обрывать в беседе:

– Разносолов нет: муттер моя – хе-хе! – забастовала... Так что мы по-походному, скромненько... Нам что? Выпьем, закусим, да гулять рванём...

Правда, корчиться внутренне поначалу всё же пришлось: я пригласил Люду, с которой сидел тогда за одной партой, и от одного соприкосновения наших локтей во время урока меня шибало током в 10 тысяч вольт. Я пригласил её, но не надеялся, что она удостоит мой день рождения своим присутствием, а она – пришла. И сидела в нашей конурной комнатёнке королевой во главе стола среди пяти-шести ребят. Стол наш колченогий чуть не подламывался от яств, купленных на те десять рублей, что выдала мне мать, взяв взаймы их у соседки. На сей безразмерный червонец я закупил:

пять бутылок вина «Розового крепкого» по 1 р. 07 к. – 5 р. 35 к.
полкило колбасы по 2 р. 20 к. – 1 р. 10 к.
две банки килек в томате по 36 к. – 0 р. 72 к.
четыре плавленых сырка по 14 к. – 0 р. 56 к.
две бутылки ситро по 27 к. – 0 р. 54 к.
полкило конфет «Школьные» (1 р. 70 к.) – 0 р. 85 к.
буханку серого хлеба – 0 р. 18 к.
пять пачек «Примы» (14 к.) – 0 р. 70 к.
ИТОГО: 10 р. 00 к.

Если б не было Людмилы Афанасьевны за столом, я бы искренне ощущал себя Крёзом, угощая приятелей. Впрочем, топорщиться я вскоре перестал, после первого же доброго глотка («Розовое» действительно оказалось «крепким»). Да и было не до того. У меня подрагивали коленки и стучалось-било сердчишко моё, просилось на волю оттого, что рядом сидит Люда, ласково на меня взглядывает, а мне исполнилось 15 взрослых лет. Я пил крепкое вино, смолил жадно «Приму», смотрел на Люду-Людочку-Людмилу и с каждым глотком всё смелее, всё увереннее знал: сегодня я впервые поцелую её. И – поцеловал!..

(«Муттер»)

На этом вскоре всё и кончилось. Наступил день рождения самой Люды. Меня она не пригласила. Зато пригласила нашего одноклассника Виктора, зазнаистого вальяжного парнишку, родители которого работали в районном банке. С ним она и начала крепко дружить. Но вскоре они, к моей радости (а чему радоваться-то?!), разругались, и Люда взялась по вечерам гулять с другим Виктором, из параллельного (тогда уже 9-го) «Б». А вскоре и я, зализав сердечные раны, сначала пережил-испытал эпистолярный роман с первой в моей судьбе Наташей (следующая глава) и затем влюбился уже *по-настоящему* в Галю, окрасив финал школьной жизни страстной, горячей и феерической любовной историей.

А Люда с тем Виктором сразу после окончания школы сыграли свадьбу, принялись рожать-плодить детей, остались навсегда в родном селе. Время от времени наезжая-возвращаясь туда, я обязательно заглядываю к ним в гости. У них в доме уютно, хлебосольно, хорошо, *стабильно* (Виктор умеет зарабатывать деньги). Две дочки уже выросли, стали невестами. Люда располнела, приобрела дородность почти такую же, какой обладала её мать. На жизнь не жалуется.

Однажды, когда после очередного гощения у них они с Виктором провожали меня через сельский парк домой к моей сестре, где я остановился, в разговоре упомянул я о Гале как о первой своей любви. Подвыпившая Люда (а мы хорошо у них посидели – коньяку, водки и вин было вдоволь!) вдруг всерьёз расстроилась, ужасно вдруг обиделась и начала-взялась при

Викторе, при муже, пенять мне горячо и горько: мол, как это я мог такое сказать-ляпнуть, когда первой моей любовью ведь была она, Люда!..

Я, конечно, охотно согласился, спрятав за улыбкой лёгкую горечь далёкой полудетской обиды:

– Да, да! Прости меня, Людочка, прости! Именно ты была моей первой любовью!

И про себя добавил: «Только безответной!»

Виктор шёл и посмеивался...

3. Наташа I

Да, эта Наташа тоже достойна памяти!

Ну, во-первых, повторяю, потому, что была первой Наташей в моей судьбе. Как-то везло мне именно на Наташ и ещё на Лен, так что придётся мне их нумеровать (титловать!), как императриц, каковыми для меня, в сущности, они и были-являлись – каждая в своё время.

Во-вторых, эта Наташа, несмотря на, скажем так, книжность и детскость нашего романа, осталась в памяти ещё и потому, что это был первый и едва ли не последний в моей жизни случай, когда я будучи абсолютно в трезвом виде познакомился и «начал отношения» с девушкой, которую едва знал, только что увидел. В этом плане я вообще-то бирюк и мастодонт. Практически всех женщин, в коих я влюблялся, – знал я длительное время до того: учился или работал с ними вместе. Для меня знакомство на улице или в общественном транспорте – только предмет фантазии: увидишь порой красавицу в троллейбусе, стоишь с ней рядом, слегка потея от мечтаний, и представляешь, как скажешь ей удачное словцо, она засмеётся-откликнется, вы заговорите, пообщаетесь, потом выйдете на остановке вместе, пойдёте к ней домой и...

Это ж надо куда может фантазия завести!

Повторяю, в поддатом состоянии я ещё мог где-нибудь в компании или в кабаке познакомиться-сойтись с понравившейся мне красоткой, но в трезвой повседневности куража на это не хватало. Если честно, я завидовал (да и сейчас ещё завидую) расторопным ребятам, умеющим знакомиться с красавицами с ходу, не комплексуя. Есть ведь вообще в этом плане уникамы. Я лично знал двоих-троих. Помню Володю с весёлой фамилией Мымрик, с которым вместе впервые поступал когда-то в университет, жил в одной комнате общаги. И внешность у него была под стать фамилии – вовсе не геройская: курносый невысокий парнишка с впалой грудью. Но, Боже ты мой, что он вытворял с девчонками и женщинами – с любой, на какую только взгляд своих тёмных глаз изволил положить. Он, к примеру, на спор подходил-подваливал к любой прохожей девушке на улице, и уже через пять-десять минут она шла с ним, куда он хотел, напрочь забыв про свои дела, своего любимого или мужа... Вероятно, этот Володя Мымрик (ау, если ты жив – привет, друг!) обладал-владел гипнозом. Но ведь сколько есть парней, кои могут без всякого гипноза подвалить к любой понравившейся им красавице и навязаться на знакомство.

Я не могу. А жаль.

Ну так вот, с Наташей нас свёл случай. Она жила в Туве, я – в Хакасии. Летом 1969-го каждый из нас отправился в путь. Я после 9-го класса – на Украину в гости к дяде; она после 8-го – в знаменитый пионерлагерь «Артек». И в этом, казалось бы, никакого намёка судьбы нет (мало ли людей отправляются в путь в одно время и в одном направлении), но именно в то лето случилось в Абакане небывалое доселе наводнение, какие-то железнодорожные пути размыло, и поезд «Абакан–Москва» поехал круглым путём через Красноярск, где в вагон наш плацкартный и подсадили школьников из Тувы.

И, опять же, была эта Наташа не такая уж ослепительная красавица, отнюдь, но, помню, при первом же взгляде я выделил её из группы пионерок, заполнивших вагон, сердце у меня сладко и тревожно притиснуло в каком-то предчувствии. Хотя, вероятно, она всё же выделялась уже тем, что была постарше прочих девчонок-попутчиц, и красный галстук на её белой майке ещё сильнее подчёркивал уже сформировавшуюся совсем не пионерскую грудь.

Добавлю-уточню, что Наташа была, конечно, русской русоволосой девчонкой, просто родилась и жила в Туве. Здесь это «конечно» не несёт никакого шовинистического оттенка, я просто констатирую странный факт: несмотря на то, что родился я и вырос в азиатской Сибири и в моих жилах, судя по некоторой раскосинке в глазах, широких скулах и смуглости кожи,

течёт толика и чингисхано-батыйской крови, – в женщинах мне милы и любы почему-то только русско-европейские черты...

Ну так вот, ехал я на боковом плацкарте внизу, Наташа (я уже знал-подслушал её имя) устроилась на верхней полке в соседней секции чуть наискосок от меня и смотрела почему-то не в окно на мелькающие пейзажи, а в проход на бурливую вагонную жизнь-суету. Взгляды наши то и дело перекрещивались-сталкивались. Она каждый раз как-то пытливо всматривалась на меня своими светлыми ясными глазами и в некотором недоумении встряхивала пышной чёлкой. Когда девчонка, соскользнув вниз, убежала на время к подружкам в другое купе, обещавшая женщина с нижней полки брезгливо проворчала сквозь непрожёванную курицу:

– Ну что ты будешь делать! Трясёт и трясёт своими патлами прямо над столом...

Муж сконфуженно на неё махнул рукой:

– Да перестань ты!

Я тётку эту жирную тут же прям и возненавидел: словно родного мне человека оскорбила! Взялся кипеть и планы строить: во-первых, как пожирательницу куриц осадить, и, во-вторых, как Наташу предупредить, что она раздражает нижнюю соседку...

Естественно, все прожекты, как во-первых, так и во-вторых, остались бы на уровне мыслей и мечтаний, если бы не резкий поворот событий. В проходе показалась Наташа, приблизилась, но, вместо того, чтобы свернуть к себе, прошла мимо меня к купе проводника, и я даже не сразу заметил, что на столике передо мной оказался квадратик плотно свёрнутой бумаги. Увидел-обнаружил, взял, с недоумением развернул и тут же меня макнуло в жар: *«Привет! Меня зовут Наташей. А тебя? Куда ты едешь?»*

Я развернулся, посмотрел – она индифферентно стояла у титана, смотрела в окно. У меня хватило остатка ума, не охваченного температурой, чтобы догадаться: она ждёт немедленного ответа. Только вот в каком виде? Подойти к ней и заговорить? Или ответить тоже письменно?

После короткого, но весьма энергичного колебания я остановился на эпистолярном варианте, стащил свой фибровый чемодан с третьей полки, отыскал тетрадку, авторучку, дрожащей рукой накарябал: *«Привет! Я – Николай. Еду через Москву в Луганск. А ты куда?»*

Сложил записку квадратиком, опять обернулся и выразительно глянул. «Моя» пионерочка тут же продефилировала мимо, ухватив на ходу записку. Потом проворно вспорхнула, словно белка, на своё место, развернула эпистолу, внимательно изучила, глянула на меня, улыбнулась, взяла тетрадь и принялась строчить целое письмо...

И началось!

Кому рассказать – не поверят: трое суток мы, находясь в одном вагоне в двух метрах друг от друга, строчили с Натальей друг другу послания, извели каждый по толстой тетрадке, и только перед самой Москвой, часа за два, когда Наташа сидела одна внизу, я решился, встал, подошёл, сел рядом и буркнул: «Привет!» На этом мы и застряли. О том, чтобы взять её сразу за руку, как наметил загодя, – я тут же позабыл. Да и разговор почему-то не клеился. До этого в письмах-записках мы уже болтали обо всём, исповедовались, шутили, а тут как морок на нас напал – мы скукожились, напряглись и просидели в неловком молчании минут пятнадцать, пока я не буркнул: «Ну пока, пиши, если что...», – и не ретировался на своё место.

Это, видимо, и сыграло роковую роль впоследствии, когда судьбой была представлена возможность нам с Наташей увидеться-пообщаться после почти двухлетней переписки. Первое письмо она мне прислала уже на Украину из «Артека», и мы взялись активно переводить бумагу и почтовые конверты, обмениваясь посланиями чуть не каждые три дня. К сожалению, когда я собрался спустя много лет жениться, то накануне свадьбы перебрал весь свой эпистолярный холостяцкий архив и сохранил из него только малую толику писем моих бывших подружек и любимых – особенно горячих и мне по тем или иным причинам дорогих. Увы, вся толстая пачка посланий Наташи из Тувы канула в огонь, и сейчас я даже жалею, что не оставил хотя бы для истории ни единого. Остались только несколько её фотографий-портретов.

Короче, после двухлетней интенсивной переписки (я уже и с Галей вовсю «любился», а в Туву всё продолжал писать-отвечать) Наташа сообщила в очередном письме, что будет проездом в Абакане такого-то числа, и у нас появится наконец возможность встретиться и поцеловаться. И я, скорей всего, помня напряг в вагоне при личном общении, взял, да и, уже приехав в Абакан, принял на свою хилую грудь для храбрости порцию спиртного. И, как это бывает, – перестарался-переборщил. Честно говорю, не помню и до сих пор не знаю, что и как было: встретились мы с Наташей или нет, обиделась ли она на моё состояние «нестояния» или на то, что я вовсе не явился в назначенное место, – только очнулся я на следующий день уже дома, в своём селе, помятый и больной, и после этого ни на одно моё эмоциональное послание (а я раза три ещё писал-составлял письма) она не ответила.

Наташенька, милая, прости меня обормота, если ещё помнишь!

4. Галя

О, Галя!!!

Если Наташа и «роман» с нею впоследствии никак не отразились в моём творчестве, то Галя стала героиней не одного моего произведения. Мало того, когда через уйму лет я начал строить-лепить свой персональный сайт в Интернете, то на одну из первых страничек поместил фото Гали, объявив на весь Web-свет: вот эта красавица – моя первая любовь!

Да и то!

Галя действительно была не только моей первой НАСТОЯЩЕЙ любовью, но и первой безусловной красавицей в моей судьбе. Она, как это часто и бывает, со временем вполне поняла-осознала силу своей внешности, и это отнюдь не делало характер её лучше. Но мне посчастливилось застать её в тот замечательный период, когда бутон её красоты только ещё распускался, и возрастные комплексы девочки-подростка ещё бродили в ней. Весь волшебный путь превращения угловатой девочки в ослепительную девушку она проделала на моих глазах, вместе со мной и даже в чём-то благодаря мне...

Впрочем, не будем забегать вперёд.

Итак, ей – 14, восьмиклассница; мне – 16, я учусь в десятом, выпускном. Осень. Я её увидел-заметил сразу...

Хотя, что я буду повторяться. Во вставном рассказе из повести «Казарма» конспект нашей дружбы-любви изложен довольно полно. Там, в повести, по сюжету три солдата-сапёра лежат в лазарете и рассказывают друг другу историю своей первой любви. Я только имя изменил. Но сейчас я верну герою-повествователю (то есть – себе) своё имя:

...Таким образом, моя очередь играть роль Шехерезады наступила после завтрака. Начал я неожиданно для самого себя в шутливом тоне:

– Да-а-а... А я, граждане болящие, если признаться, женатым был.

И Борис, и Рыжий недоверчиво на меня посмотрели.

– Что, молодо гляжусь? Ну, тогда можете представить, как я выглядел три года назад. Короче, слушайте.

Начну я, пожалуй, с середины. Как познакомился с Галей, первые вздохи, поцелуи, признания – всё это неинтересно...

– Ну нет, – прервал Паика, – так дело не бухтит! Куды спешить-то нам? Давай триви с самого начала, как мы. Мне всё интересно.

– Конечно, – поддержал его Борис.

– Ну, ладно... Я учился в десятом, она – в восьмом. Не знаю, сужу ли я беспристрастно, но она мне казалась, да и сейчас кажется, как Паика выражается – клёвой на внешность. Кстати, фотка у меня есть.

Я достал из кармана пиджама небольшую фотографию и протянул её Рыжему. Это фото я очень любил, потому и сохранил только его из тех двух десятков, что надарил мне Галя. Она снялась в школьной форме. Кружевной воротничок облегал девичью шейку (которую я так любил целовать!), пышные каштановые волосы двумя хвостами лежат на плечах, большие светлые глаза кротко-удивлённо смотрят мимо объектива куда-то в неведомую даль, и припухлые, нечётко очерченные губы чуть заметно, «по-джокондовски», улыбаются.

Вот такую я её и помнил!

– Ого, и точно – клёвая! – высказался Паика.

А Борис, прочитав надпись на обороте – «Коля, милый, не забывай!» – улыбнулся: – Хороша!

– Впрочем, она не всегда такой кроткой была, – зачем-то заскочил я вперёд. И начал опять сначала.

– Итак, дружить, как это у нас называлось, мы начали осенью. Как оно всегда и бывает, до этого я Галю не замечал. Да оно и немудрено: школа у нас хоть и сельская, но многолюдная – учеников в ней больше, чем солдат в полку. А в то время, видимо, и подтвердилась в очередной раз старая сказка – гадкий утёнок превратился в лебедя. Одним словом, увидел я её в первые сентябрьские денёчки – помню, на перемене, в буфете, – и сразу твёрдо решил: закадрю!

(Ты уж извини, Паиш, что я опять твоим словечком воспользовался, но уж больно они у тебя образны!)

Однако ж, решить – ещё не сделать. Кружился я с месяц вокруг, но всё не решался подойти и заговорить. Друзья-приятели даже подначивать уже стали: давай, мол, а то сами...

Случай помог. Первый школьный вечеришко состоялся. Скучновато они у нас проходили: под аккордеон полечки и летки-енки танцевали да в трубочиста играли. Она меня на этом вечере в пару трубочистом выбрала, но я так и проморгал молча до тех пор, пока нас не «разбили».

Как всегда, в двадцать один тридцать наш дерик сказал: баю-бай, мальчики и девочки! – и мы, даже не поуросив (уже привыкли), поплелись к раздевалке. Иду и думаю: «Надо подойти сегодня, надо!.. А может, завтра лучше? После уроков?..» Короче, как маятник качаюсь.

Надел пальто, сунулся в карманы, а перчаток нет. Для справки поясню: до этого у меня кожаных перчаток никогда не было, а эти, хромовые, чешские, дядькин подарок из Москвы, я носил всего третий день. Аж визжать захотелось от обиды и злости! А когда я злюсь, решительности во мне хоть отбавляй. В общем, визжать и плакать я не стал, а догнал Галю в этот вечер и, как говорится, объяснился. Она – потом выяснилось – давно уже этого ждала.

Ну, дружили мы, дружили (смешное слово!), а поцеловал я её в первый раз только девятого декабря. Запомнилось вот. Это вообще анекдот был. Морозец – градусов под тридцать, слышно, как на Енисее лёд трескается, а мы стоим, переминаемся. Она-то выскочила только на минуту, сказать, что мать сегодня выходная и не отпускает её гулять, – да и задержалась. (А мамаша у неё билетёршей в Доме культуры работала, но о ней позже.) Пальтишко на Гале внакидку, шапка-ушанка братова на голове. Она к палисаднику отклонилась, глаза закрыла и дурачиться начала.

– Я за-сы-па-ю-ю-ю... Я за-мер-за-ю-ю-ю... Засы-паю-ю-ю...

И затихла. И губы мне подставила. Ну, я потоптался, посопел и наконец решился – надо целовать! Взял её за плечи – молчит и ждёт! – и начал лицо своё клонить. Только осталось: вот-вот и поцелую, как, представьте только, – насморк!

Отодвинулся я, пошмыгал носом и – опять к ней. Только наклонюсь, снова «авария», снова шмыгать надо. Вспотел весь от позора, пар от меня валит, а она, главное, глаз не открывает, словно и правда её здесь нет. Ну, думаю, сейчас или высморкаться надо внаглую и всё в дубовую шутку обратить, или целовать, как сумею. Иначе – стыдобушка!

Подготовился, наклонился и прижал свои губы к её...

И всё, парни, дальше что было – не помню. Галя потом рассказывала, что, дескать, оттолкнула меня, выговор закатила и убежала. Я же себя уже на полдороге к дому обнаружил. Ни до, ни после я подобного больше не испытывал – как пьяный был: пальтецо нараспашку, шапка в руке, ноги скользят по насту, внутри такое ощущение, будто на качелях да всё время вниз и вниз... Собачонка приبلудная, помню, тут же ковыляет рядом со мной, продрогшая, поскуливает – притащил её домой и накормил своим ужином...

Я потом всё думал, почему так одурел от простого прикосновения Галиных губ? Ведь целовался уже с девчонками до этого, бутылку на посиделках в кругу крутили...

– Ну, а как, как у вас «это самое-то» было? Когда случилось-то? – квакнул вдруг Рыжгий.

Тумблер щёлкнул, голубой экран в душе угас. Я начал считать про себя до десяти. Борис укоризненно сказал Пашке:

– Ты же сам просил подробнее и издалека, будь же последователен – жди.

– Да я чё? Я ничё?.. Если б взасос – ещё туды-сюды, а то кто ж так... да ещё на морозе... да чтоб забалдеть... Ха, от поцелуя! Да я хоть тыщу раз засосу, и хоть те хны...

Рыжий бормотал всё неувереннее, начиная понимать, что бредёт не в ту степь. Я молча отвернулся к стенке и накрылся одеялом с головой. И не реагировал уже ни на что до самого провала в сон.

Снилось мне наше село, зарывшееся в снег, который всё падает, падает, падает... Мы стоим с Галей, взявшись за руки, одетые почему-то по-летнему – она в сарафане, я в рубашке – и нам не холодно, но мы шмыгаем носами и смеёмся. Я закатываюсь, а сам думаю: «Какие мы ещё дети! Нам и целоваться-то ещё рано!»...

После обеда я держал форс целый час и не отвечал даже Борису. Правда, он тоже оказался с характером и сразу отстал от меня. Мы лежали с ним по своим углам и читали...

Пашка извертелся от тоски. Наконец, как и ожидалось, он не утерпел и заскулил: дескать, так нечестно, все рассказывали, а ты, Колян... И проч. Я, конечно, поломавшись, сдался.

– Ладно, – сказал я, обращаясь подчеркнуто к Борису, – продолжу, но для сеньора Паоло перескочу сразу через два года, чтоб побыстрей.

Пашка дёрнулся, но я продолжал.

– Ну вот, поступать после школы сразу я не стал, пошёл на стройку – бетон месить, землю копать. А на следующий год в Иркутский университет провалился под фанфары и снова домой прикатил. Да и поступал-то я на дурика, без подготовки. Уж потом, позже, понял, что, наверное, из-за Гали не решался куда-то уехать. Её ждал. А тогда ни о чём серьёзном в наших с ней отношениях вроде ещё и не думал. Встречались почти каждый вечер и день – она с уроков для меня сбегала. Бывало, ссорились, даже на неделю, на две...

А надо сказать, что мамаша её буквально взбеленилась против меня с первых же дней. Что ей не нравилось? До сих пор я точно не знаю, но, скорей всего, она не меньше, чем сына секретаря обкома для дочери прочила. А тут – сын учительки, безотцовщина, да ещё и простым работягой пошёл вкалывать.

Одним словом, гоняла она меня безобразно. Я, впрочем, не склонял гордой головы и отвечал ей взаимностью. Раз даже фельетон на неё в нашу «районку» сочинил – как она карманы у детишек выворачивала, чтобы те подсолнухи в зрительный зал не протаскивали. И, стерва, у меня раз принародно под этим предлогом форменный обыск учинила по карманам. Писал я, чтобы обиду выплеснуть, думал не напечатают, а фельетон этот – раз! – и бабахнули. Что было! Галя мне вечером на полном серьёзе сказала:

– Ты недели две в кино не ходи и вообще ей не попадайся – убьёт!

Я верил – тётя Фрося убить могла. Отец же Гали, дядя Фёдор, работал шофёром и был мужик ничего, даже шутил при встречах: привет, мол, зятёк!

Ну вот, дружили мы таким макаром – тайком да крадучись. Только вижу, Галечка моя вытыкиваться начала. Ей уже семнадцать почти сравнялось – расцвела, повзрослела, да и кровь в ней, видимо, заиграла. Поводы для ревности моей появились: она то одному улыбнётся, то с другим танцевать на вечеринке пойдёт, то на меня ни с того ни с сего разозлится и начнёт сравнивать с другими...

К слову сказать – для Павла Ферапонтовича, – мы с ней дальше поцелуев и прижиманий пока не сдвинулись. Правда, раз, летом, когда я из Иркутска на щите возвратился, мы в первый вечер как с ума сошли. Она у бабки с дедом ночевала, и мы почти всю ночь в саду на лавочке под черёмухой промиловались. От поцелуев захмелели. Я Галю первый раз такой видел: она сама целовала, кусала мои губы, прижималась ко мне и всё вздрагивала. Потом положила

мне голову на колени, и мы опять целовались. Я сам не заметил, как рука моя скользнула по её шейке, а потом вниз, в полукружье выреза. И вдруг я услышал ладонью, как бьётся её сердце...

Галя замерла, но через мгновение положила ладонь на мою руку и прижала её сильнее к своему телу. Я наклонился и прошептал:

– Галь, я хочу поцеловать...

– Но ты же целуешь? – не поняла она. И спохватилась: – А-а-а... Но – платье же? Как?

– Я разорву его!

Галя замолчала, вроде соглашаясь. Я уже схватился обеими руками за тонкое полотно, даже треск слышался... И тут: «Га-а-а-а-а!» – бабуся её с крыльца кличет. Она прижалась ко мне, поцеловала несколько раз наспех и, шепнув: «Завтра в халатике буду!», – исчезла...

Я вдруг загнулся и замолчал. Чего это я так расписываю? Меня неприятно поразил контраст в выражениях лиц у моих слушателей. Борис полулежал на подушке, смотрел куда-то мимо меня, на морозовые узоры окна, и во взгляде его, как мне показалось, застыло выражение снисходительной скуки. Зато Паика, уже весь извертевшийся, сидел теперь снова потурецки и словно сглатывал каждое моё слово приоткрытым ртом. В уголке губ его, с левой стороны, поблёскивала капелька слюны.

– Вот так, в общем, – тускло произнёс я и криво улыбнулся, – детские фигли-мигли...

– Ну! – вскрикнул Рыжий. – В халате-то припёрлась? Чё было-то?

– Не суетись, ничего особенного, – резко бросил я и решил назло всему и вся продолжать, но уже без картинок.

Ради Паики выворачиваться, что ли?

– В общем, заканчиваю. Пришла мне повестка в армию, и Галя совсем взбунтовалась: ссоры – чуть не каждый день. То ли злилась на мою нерешительность, то ли заранее стыдилась, что не дожждётся меня...

Перед праздником, 6-го ноября, в клубе были танцы. Я, как обычно, часов в семь, уже по темноте, подошёл к её дому и бросил камешек в наше окно. Молчание. Я – ещё один. Калитка заскрипела, смотрю, вместо неё брат младший выходит, Витька.

– А Галька как ушла с обеда, так и нет.

Сердчишко кольнуло, но я ещё ничего не подумал, может – у подружки? Ну ладно, иду назад к Дому культуры. Прохожу мимо школы, навстречу – парочка. Уже разминулись, как вдруг сердчишко опять – тук! Зрение-то у меня нестандартное, точно разглядеть не могу, а как бы почувствовал – она!

– Галя?

Ноль внимания.

– Галя!!!

Останавливаются. Я эдак крадучись подхожу, а сам молю Бога: хоть бы не она! Нет – она.

– Пойдём.

Она полуоглянулась на парня – здоровый, выше меня на голову – и небрежно ему говорит:

– Ты, Владик, иди, я сейчас догоню.

«Ничего себе!» – думаю. Тот отошел шагов на двадцать. Я зубы стиснул и довольно тихо спрашиваю:

– Что это значит, Галя?

– Ничего не значит, – спокойно отвечает она. – Это – мой брат двоюродный, из Ачинска. На неделю приехал. Меня тётя Катя попросила поразвлекать его, а то он никого не знает. Вот и всё.

– Всё?! А конкретные способы развлечений тётя Катя тебе не подсказала? – сорвался я. – Может, он не гулять под фонарями хочет, а ещё чего?

Она обидно смерила меня взглядом.

– А это мы с Владиком уж сами решим, чего нам хочется...

Я хотел подумать, что сейчас её ударю, но не успел – она уже отшатнулась от смачной пощёчины и закрыла лицо руками. Потом повернулась и так, с закрытым лицом, побегала. Парень рванулся ей навстречу, остановился и проскрипел:

– Сейчас, Галь, сейчас я его уработаю, гада!

Я шагнул к заборчику сквера и со скрежетом вырвал итакетину. Тот замялся и, совсем по-дурацки крикнув: «Ты подожди, подожди, я сейчас вернусь!», – повёл Галю, придерживая её по-хозяйски за плечи. Я ждал его почти час. Естественно, без толку.

На следующий день, после праздничной демонстрации я не стал, как обычно, скидываться, сказал приятелям, что заболел и пошёл домой. Пошёл почему-то не кратчайшей дорогой, через переулок, а свернул на улицу Садовую. Само собой, всё время о вчерашнем думаю, уже казню себя...

И надо же такому случиться: угораздило меня проходить мимо дома, где 10 «А», Галин класс, собрался праздник праздновать. Уже хатёнка эта позади осталась, слышу, меня окликают. Оборачиваюсь – Буча от калитки мне рукой машет. Буча этот, Кешика Бучнев, был одноклассником Гали, – парень тупой и приклатнённый. Я с ним на уровне «привет-привет» знался. А за Бучей тот, Владик, маячит.

Буча хоть и здоров был, но трусоват, это я точно знал, а тот типчик накануне себя показал, и потому я спокойно стою и жду. Но не учёл, что праздник был, и что они уже поддатые изрядно. Буча, собака, семенит ко мне, перчатку на правую руку натягивает и для храбрости вскрикивает:

—Ты зачем Галю вчера ударил? Галю зачем вчера ударил?..

Я только подумал: «Неужели салага осмелится?» – как тут же взлетел, грохнулся спиной о землю и увидел свои ноги в облаках. Стало нехорошо.

– Буча, – сказал я тихо, глядя на него с земли. – Буча, эту секунду ты будешь вспоминать всю оставшуюся жизнь...

Буча и сам уже опомнился (он знал, что это не пустые угрозы), повернулся и засеменил обратно. Тот тип, к моему удивлению, за ним.

– Эй! – со злой весёлостью крикнул я, начиная подниматься. – Эй, Владик, а ты-то куда? Заманд-ражи-и-и-ировал!..

Подняться я не успел. Пинали от души. Буча от страха совсем ошакалел и суетливо пинал, стараясь попасть в живот. Тот же всё старался перебить мне нос или выпнуть глаза. Боль я ощущал не телом, а мозгом: дескать, меня бьют и мне больно. И было ещё жутко стыдно перед людьми, которые, разинув рты, маячили невдалеке.

Потом Буча как-то особенно ловко приложился прямо под вздох, я захлебнулся и провалился в горячую темноту. Последнее, что услышал – крик Гали...

Очнулся от её поцелуев и слез. Она стояла на коленях, поддерживала мою голову ладонями и стонала:

– Ой, ну что же это такое?! Что же они с тобой сделали!..

И вот в этот-то миг я и понял, что просто-напросто не могу жить без неё. Люблю её! Хотел сказать: «Поцелуй меня!», – но губ словно бы не было, и язык распух так, что давил на нёбо. Тогда я сам приблизил её к себе и прижался разбитым ртом к её плачущему лицу. А вдалеке уже заныла сирена «скорой», я ещё, помню, удивился – за мной, что ли?

Вот так... Сломали они мне два ребра и левую ключицу, синяки я уж не считал. Провалился в больницу больше месяца. Военкомат отсрочку, само собой, дал на полгода. Галю же как подменили: в больницу каждый день тайком от матери бегала, а когда выписался – оба минуты считали до вечера и потом до полночи расстаться не могли...

– Буче-то возвернул должок? – перебил Пашика.

– Да нет... Галя вроде ультиматума поставила: я, дескать, одна во всём виновата, хотела испытать тебя, и если хочешь, то на мне обиду вымещай – хоть избеи! Он, правда, и сам в больницу прибежал, прощения просил, а потом угощение выставил. Но мои друзья погоняли его в тот вечер – только ноги и спасли. Потом мне же его защищать от них приходилось... Впрочем, чёрт с ним! Тут случилось то, чего Пашика с таким нетерпением ждёт.

Родители её укатали на Новый год к родственникам в соседний город. Это была огромная промашка со стороны тёти Фроси. Хотя они и Витьку оставили, но что мог сделать двенадцатилетний Витька, если это уже стало неизбежным, если мы уже настолько с ума сошли, что посреди улицы начинали целоваться, забыв обо всём и вся.

Одним словом, мы встречали Новый год в её доме. Впрямь. Витька добросовестно сидел до двух ночи, но от бокала шампанского сомлел и в конце концов уполз в свою комнату. Ну и – случилось...

Потом перепугались страшно. Галя плакала навзрыд, рискуя разбудить Витьку, и всё причитала: «Что же теперь будет?!» Я её успокаивал, а у самого аж порченые рёбрышки ныли, как только о тёте Фросе вспоминал.

Короче, терзались мы, мучили друг друга страхом, а потом всё же осознали, что грех, как говорится, уже свершён и дела не поправишь. Нацеловались ещё и уснули. Я её так и вижу чаще всего, вспоминая, – в своих объятиях, уснувшую, заплаканную и с улыбкой на распухших губах...

Я почувствовал щекотание в носу и поспешил закашляться. Борис, как я заметил, уже внимательно слушал и теперь деликатно отвёл взгляд в сторону. Пашика же нетерпеливо дожидался конца паузы.

– Вот... А наутро после первой брачной ночи – немая сцена: открываем глаза и только, ещё сонные, губами друг к другу потянулись, слышим – чавканье и бульканье. Вскидываемся – за столом сидит Витька, жрёт торт, лимонадом запивает и на нас вроде ноль внимания. Галя одеяло рванула на себя и аж взвизгнула: «Тебе кто позволил?!»

А братец-акселерат эдак спокойненько: «Тебе что, торта жалко? Не весь же слопаю...»

Я сразу понял, что мы попали в прочные сети и спросил: «Конкретно, что тебе надо?»

«Немного, – отвечает братишка-негодяй, – твой пистолет-зажигалку, а от неё – её копилку со всеми внутренностями...»

В общем, он нас всласть потом шантажировал: у меня полполучки на него уходило, а я на стройке прилично зарабатывал. Но, правда, не выдавал, хотя Галю, гадёныш, всячески оскорблял и изводил.

Мы пока терпели и вообще как-то не обсуждали всерьёз, что нам делать дальше. А надо было, надо этот разговор начать и именно мне – я это потом, когда всё уже произошло, понял, да поздно уже было...

Надо сказать, что мы уже по-настоящему жить начали. Галя осмелела, да и я начал помаленьку наглеть и о тёте Фросе забывать. То в нашем доме прибежище находили, когда у матери моей в вечерней школе занятия выпадали, то Галя к старикам ночевать отпрашивалась, и я пробирался ночью в её комнатку – бабка с дедом глуховаты были. Короче, жили не тужили.

А у Гали чёрточка в характере была, которая мне до бешенства не нравилась: накатывал на нее иногда цинизм какой-то, и она в такие минуты до отвращения наглой и вульгарной становилась. Как в том случае – с Владиком. Переходное, что ли? Ну вот, однажды встречаемся вечером, уже под конец зимы и – ко мне. Я ещё по дороге заметил, что она вся взвинчена и сама не своя. Но ничего не объясняет и на ссору наывается. Ну, думаю, опять накатило, давненько не бывало. Приходим, раздеваемся, в смысле – пальто снимаем, и она сразу: «Ну, что, любовью, так сказать, займёмся? Наслаждаться будем?..»

Я кротко отвечаю: «Ну что ты, Галюш, злишься? Что случилось?»

«Да ничего особенного, господин любовник, – кричит, – стишата вот свежие узнала. Желаете?»

Я молча пожал плечами и вообще решил отмолчатся – пусть перебесится. А она напряжённым голосом и нелепо жестикулируя, начала:

*Светит солнце, и цветёт акация.
Я иду, улыбки не тая:
У меня сегодня – менструация...
Значит, не беременная я!..*

И спрашивает с вызовом: «Ну как?»

Я ещё ничего не понял и не в настроение – совсем, как сейчас Пашика – невольно хохотнул: «Остроумно, только пошловато чуток...»

«Пошловато?» – вдруг надломилась Галя, устало опустилась на кровать и посмотрела снизу вверх на меня жалобно и с надеждой. – Самое пошловатое то, что теперь эти стишки не про меня...»

Представляете, как я остолбенел? Сразу в голову вскочило, что в подобных случаях принято, так сказать, предложение делать. Я о чём-то этаким и заговорил, сначала неуверенно, потом с жаром, пылом, брызгами слюны. Галя, опустив голову в ладони, молчала. Потом резко вскинула заплаканное лицо (я и не понял, что она плакала!) и чуть ли не в полный голос заорала:

«Да ты идиот, что ли? Я что, специальную школьную форму для беременных шить должна, да? Или маму попросить? Может, она сошьёт, если не убьёт прежде свою дочурку!...»

– Ну? – вякнул Пашика.

Я, оказывается, снова замолчал, унесясь в памяти за сотни километров, в маленький наш дом, в тот февральский поздний вечер.

– Ну, ну!.. Не нукай! Сбылись её слова...

– Что, убила? – не поверил Борис.

— Да, можно сказать так... Тут я, это... Короче, Галя приняла решение и искала какую-нибудь бабу. И мне ультиматум: если не помогу найти – знать меня не знает. Сроки скоро кончались. Ну я и решился на крайность – как лучше хотел! – выбрал момент, когда Галя в школе была, а отец её на работе, и ввалился к тётке Фросе. Ввалился и брякнул: так, мол, и так, у нас с Галей ребёнок будет, я хочу, мол, жениться, а она бабу ищет и надо спасать...

Как она меня не убила, до сих пор не понимаю, но страшна была в тот миг! Я, когда уже вырвался, за Галю всерьёз испугался: понял, что от тётки Фроси надо действительно всего ожидать. И нет чтоб сразу Галю предупредить, я сначала – домой. Правда, и вид у меня растерзанный был, надо было хоть умыться и переодеться...

Вот, пока бегал, всё и случилось. Тётя Фрося её сразу из школы выдернула и домой притащила...

Когда я примчался, Галю уже «скорая» увезла. Эта гнида так над ней поработала, что у Гали не только выкидыш случился, она вообще теперь, наверное, матерью не сможет стать...

Вот и всё. Я после этого её всего раз видел, уже после больницы. Изменилась страшно. Хотел заговорить, а она на меня так взглянула: «Исчезни. Видеть тебя не могу».

И сама как в воду канула – уехала, неизвестно куда. А меня весной вот забрили...

Вот так я был женат, как говорится, гражданским браком, счастливо, но недолго...

– Да-а-а... – протянул задумчиво Борис. – У тебя как-то всё наоборот и странно. Обычно парень ребёнка не хочет. И зачем тебе надо было на своём стоять? Действительно, потом бы уж, после школы, после свадьбы и – ребёнок...

Я лишь усмехнулся, дескать, что ж теперь советовать.

Ну как бы я объяснил, что ниточка, связывающая нас с Галей, к тому времени натянулась уже до звона... Появился некий Юра из параллельного 10 «Б». У меня была почти стопроцентная уверенность, что у них дело зашло намного дальше поцелуев. Может, это был плод ревнивого воображения, как пыталась уверить меня Галя? Так нет, я сам кое-что видел и замечал, да и у самой Гали прорывались в минуты ссор обжигающие прозрачные намёки. И даже вскрикнула раз, что ненавидит меня и моего ребёнка.

Одним словом, я чувствовал приближение катастрофы и цеплялся за этого ребёнка, как за последнюю соломинку. Думал, он нас свяжет с Галей крепко-накрепко узлом на всю жизнь...

Разве мог я всё это рассказать даже и в такой обстановке? Да и что я сам понимаю? Почему Галя вдруг так резко разлюбила меня? Любила ли вообще? Почему я, столь страстно ненавидя её даже за предполагаемую измену, всё же не мог никак отлепиться? Почему я не могу до сих пор забыть её? Хотя это унижительно, унижительно, унижительно, чёрт побери, когда тебя разлюбят!..

(«Казарма»)

Всё здесь, за исключением мелочей, – правда, одна только правда и ничего, кроме правды. До фразы «Ну и – случилось...» А вот дальше, к счастью или сожалению, – домысел и вымысел.

Да, та новогодняя ночь действительно была более чем бурной и страстной. К ней мы неуклонно приближались, повышая градус взаимных ласк от встречи к встрече. Поначалу, пока и я ещё учился, мы только томились поцелуями, да Галя всё охотнее и доверчивее позволяла мне гладить-ласкать её поверх одежды. И я, и она были чисты и девственны. Чуть позже я испытал сладкий хмельной шок, когда мы однажды поздним вечером дружили-общались с ней через окно (а это случалось, потому что родители её категорически возражали против нашей дружбы и загоняли рано домой), и она показала мне стриптиз. Жили они в двухэтажном доме тогда ещё на первом этаже, к окну подход был свободен. Я, приплюсив нос к стеклу, разговаривал, подражая глухонемым, Галя писала мне крупным почерком записки. И вот она написала: «Мне надо переодеться», – и показала жестом, что закроет на минуту шторы. «Не надо!», – взмолился глухонемно я. «Переодеваться?», – лукаво улыбнулась она. «Шторы закрывать! Я хочу тебя УВИДЕТЬ!..»

Галя подумала секунд десять (ещё бы!), щёчки заалели, торопливо написала: «Потерпи минуту!» И шторы задёрнула. Но второпях (а может, и с умыслом – в этом я женщин никогда не понимал) не заметила завёрнутый уголок, так что я, затаив дыхание, увидел, как она, всё же повернувшись к окну спиной, стянула платье, расстегнула и скинула лифчик, зябко передёрнула плечами, быстренько облачилась в халат. Потом приблизилась, распахнула шторы, невероятно блестящими глазами глянула на меня, ещё сильнее вспыхнула и медленно развела створки халатика...

(Вот это оглушающее впечатление о «двух нежно-розовых кружочках, рдеющих на пронзительно белых незащитных холмиках» я потом и вставил в рассказ «Встречи с этим человеком». Ведь по сути словно бы продолжилась сцена с Людой, так внезапно прерванная за два года до того...)

Между тем, Галя закрылась-запахнулась, и не успел я огорчиться и всё испортить мольбами о «продолжении сеанса» (ах, ещё бы и трусики!..), как она наклонилась над столом, что-то решительно написала на листке бумаги и приблизила записку к стеклу: «Я тебя люблю!»

И мне стало уж совсем невмоготу как жарко. И я понял, что не надо в этот вечер больше ничего. Ни-че-го-шень-ки! Это было первое признание Гали в любви. И вообще о любви мы с ней до этого вечера слов не произносили. Честно говорю: не помню, объяснился ли я тут же в ответ Гале в любви и вспоминал ли в те минуты Иру с её неудачным признанием, но вот ощущение жгучего, скажем так, мужского счастья от того, что девушка первой призналась тебе в любви – навсегда вошло в сердце и мозг.

Может быть, и зря...

Мы медленно, но верно шли с Галей по ошеломляющей, сладостной и тревожной тропе-переходу от детской дружбы к чувственной любви. Мы искали уединения. Сначала прибежищем нам стала одна из комнат в соседнем строящемся доме, где мы соорудили из половых (как нескромно звучит!) досок широкую скамью и часами, смешивая дыхание, целовались на ней до изнеможения. Затем обжили чердак двухэтажного Галиного дома. На него вела лестница-трап, и когда я взбирался вслед за Галей по ступенькам, то в полумраке отчётливо видел-различал то, что видеть в обыденности не полагалось... Меня, наивного, даже слегка смущало это и только много позже догадался я, что Галочка моя преотлично знала-сознавала ситуацию и специально, думаю, надевала в такие вечера трусики «покрасивше»...

Влезал я на чердак уже, естественно, сверх меры распаренный и *одухотворённый*, ну а здесь, в шиферном вигваме, доходило уже и вовсе почти до полного раздевания, до бурных ласк и неистовых объятий наших юных наполовину обнажённых тел. Только впоследствии, познав других женщин, я опять же понял-осознал вполне, сколько страсти и редкостной чувственности было подарено Гале природой. Девчонка, судя по всему, уже давно научилась извлекать наслаждение из своего тела самостоятельно, а уж с моей помощью, под моими пока ещё не очень умелыми, но жаркими поцелуями и ласками и вовсе почти теряла сознание и вздрагивала-изгибалась, рискуя сладостными стонами встревожить всех соседей-обитателей дома и своих гневливых родителей. Но как только дело доходило до *дела*, когда я пытался довести всё до конца и помочь наконец Гале стать женщиной, а себя превратить в мужчину (впрочем, вскоре я уже попробовал «это» на стороне, но об этом – дальше), Галю мою словно заклинивало: нет! я боюсь! не надо! не сейчас! потом!..

Можно представить, в каком неукротимом огне я горел, какие моральные муки испытывал. Не говоря уж о физических.

Та новогодняя ночь, описанная в «Казарме», – боль моя и мука.

Мы действительно встречали его втроём у Гали дома. Брат её (на самом деле его звали Серёжкой, и мы с ним вполне дружили, так что в повести я, увы, очернил его в силу художественной необходимости – прости, друг!), брат её ушёл спать, а у нас началась невероятная, томительная ночь. Мы расстелили постель. Впервые я раздел Галю полностью и при ярком свете. Я исцеловал всё её тело до последней клеточки, она была так напряжена, что даже от лёгкого прикосновения моих губ к встопорщенным алеющим соскам вскрикивала чуть не в полный голос, стонала и потом, испытав взрыв наслаждения, затихала на минуту, впадала в полубоморочное состояние...

Дошло у нас уже до того, что мы подстелили на белую простынь какую-то красную тряпку, дабы скрыть следы *преступления*, уже осталось мне только и сделать одно самое последнее движение-нажим, чтобы войти в Галю, соединить наши тела в единую плоть, единый мир, уже ощутил-почувствовал я тонкую *грань*, готовую поддаться-уступить моему неистовому натиску, как вдруг в самый наипоследнейший момент Галя подо мной извернулась, ускользнула, прикрыла лоно ладошкой:

– Не надо, Коленка! Умоляю! Не сегодня! Потом!..

До сих пор корю себя: уступил, обиделся, затих. Потом оделся и ушёл. Очень уж я, дурак, обидчивый! И самое смешное: минут через двадцать спохватился, с полдороги опрометью бро-

силса назад – звонил, стучал, ломился в Галину дверь... Не открыла. Как потом уверяла: уснула намертво и ничего не слышала...

Не судьба!

Мы ещё какое-то время любили-мучили друг друга, но впоследствии, и правда, появился в её жизни мальчик из параллельного класса (она уже оканчивала школу), Галя откачнулась-прилепилась к нему, и, надо догадываться, весь путь от первого поцелуя и до полной-наиполнейшей близости у них получился, естественно, намного короче. И вот это-то особенно точило (и точит!) мне сердце: подготовил я свою любимую Галочку, воспитал-взлелеял чувственно для какого-то охламона – пришёл, гад, на готовенькое и отхватил *приз*!

Признаться, я долго страдал, ходил под её окнами, делал глупости, особенно по пьяни. Однажды, к примеру, когда она жила уже на втором этаже в том же доме (обменялись квартирами с соседями), я вечером безуспешно пытался вызвать её, бросая камешки в окно, для очередных разборок и уговариваний, затем додумался в пьяной бесшабашности забраться на шиферную (нашу вигвамную!) крышу, сполз к краю и свесил голову, чтобы заглянуть в её окно. И вот тут, когда центр тяжести тела переместился, и моя собственная задница начала неукротимо наезжать на меня, я понял-осознал вполне, что через секунду свергнусь вниз – аккуратно дурной башкой в асфальт. Я мгновенно протрезвел и, цепляясь скрюченными пальцами за ломкий край шифера, начал по миллиметру отползать-отодвигаться вверх...

Бог в тот раз спас!

У меня сохранились все (ещё бы!) письма Гали. Их, правда, не так уж и много. Сейчас перечитываю: Боже мой, какие *лишние* страсти, замешанные на придуманной ревности и никчёмных обидах, кипели! И чего бы нам было просто не дружить и не любить друг дружку – тихо, спокойно, нежно, без дурацкой ревности и глупых ссор?

Первое её послание (ответное на моё), написано в классе, на каком-то уроке и, судя по всему, тему того урока Галочка моя вряд ли усвоила:

«Я пишу тебе тоже, по-видимому, последнее письмо. ПРОШУ тебя как бывшего “друга”: верни мои фотографии. Признаюсь, я не ожидала от тебя такой подлости, так сказать, недооценивала твоих способностей! Но я до сих пор не могу понять, зачем тебе это было нужно, если я тебе совершенно не нравилась? А насчёт слёз – они у меня были не естественными, это я так тренировалась для поступления в институт кинематографии. И я никогда не думала, что вокруг меня вращается вся Вселенная. Без тебя знаю, что есть намного лучшие меня девочки. Искренне жалею ту девчонку, с которой ты, вероятно, будешь дружить. Я с тобой дружила только из жалости к тебе. Спасибо, ты дал мне хороший урок. Впредь умнее буду. Ещё раз прошу: отдай фотографии или сожги. А я в воскресенье узнала правду: это ты ведь написал Рае письмо? Не отпирайся, ничего не выйдет! Эх ты! А я тебе верила! Ну да ладно, на ошибках учатся. Извини, что так грязно написала и плохо: что ж поделаешь – у меня такой плохой почерк...»

Вот так. Ни обращения, ни подписи, ни абзацев. Очень уж, видно, Галя рассердилась-расстроилась на какую-то мою вздорность (что я там мог и зачем её подружке Рае написать?!). И ещё, мне кажется, понятно было уже с первого письма: разрыв рано или поздно был запрограммирован и неизбежен.

Когда я поехал поступать в университет (на самом деле в Алма-Ату, а не в Иркутск), я вскоре получил от Гали два ну очень характерных письма в одном конверте:

1) «Здравствуй, Коля!

Живу я отлично, только как-то ещё непривычно, что меня отпускают на улицу до 12 и даже до 1 часу ночи. С Раей мы ходим по селу и ищем приключений на свою голову. На танцы я хожу.

Я думала, что не получу от тебя письма, ведь у нас всё кончено и ничего нельзя вернуть. Нужно только перечеркнуть всё, что было между нами, и не надо тебе делать вид, что ничего не случилось. Коля, всё, мы потеряли друг друга навсегда. Я посылаю тебе ромашку в знак измены. Это должен сделать ты, но ведь ты никогда не дарил мне цветов, зачем же под конец изменять своему правилу. В общем, желаю тебе всего хорошего: отлично сдать экзамены, пройти по конкурсу и встретить свою настоящую любовь.

Насчёт меня можешь не волноваться: поклонников у меня хватает, но я, как ты говоришь, не буду размениваться на мелочи. Я не умею сама делать счастье, я буду ждать его, может быть, оно придёт ко мне. А если нет, что ж, я найду себе счастье в учёбе, потом в работе и любить буду только маму.

*А всё-таки я тебя люблю! Как ни стараюсь забыть, пока не получается. Но это ничего уже не изменит. Забудь о моём существовании, тебе это будет не трудно. И запомни: **МЫ НИКОГДА НЕ БУДЕМ ВМЕСТЕ!** Ты никогда не полюбишь по-настоящему, потому что кроме себя ты никого не любишь. Тебе нужно только своё счастье, а о других ты не думаешь. Я сочувствую той девушке, которая станет твоей женой.*

Ты знаешь, мне даже твой друг Николай Ф. сказал, что, может быть, ты меня не любил и раньше, уже не говоря о настоящем.

(Далее шесть строк густо зачёркнуты.)

В общем, всё, но ты, я думаю, не упадёшь духом – ведь ты так уверен в себе.

Желаю счастья!

Галя.

(ЭТО ГОВОРIT МОЁ САМОЛЮБИЕ.)»

2) «Здравствуй, милый!

Я уже не надеялась, что ты мне напишешь – ну разве можно так долго не писать!

У меня всё превосходно. Сегодня двум юношам отказала в дружбе. Вот видишь, какая я честная.

А ты ловко действуешь: начал своё письмо с упрёков в мой адрес, а ведь я должна, по идее, не писать тебе, но уж очень я тебя люблю, мой дорогой, а ты меня, видно, не очень – даже не написал “целую”. Эх ты!

Ты там поменьше ходи по ресторонам и не заглядывай очень-то на девочек, а учи билеты и сдавай экзамены. Да, домой вернулась твоя обожаемая Надя Д.: представь себе, завалила историю...

Ты знаешь, у меня всё чаще и чаще возникает мысль, что ты там встретил какую-нибудь девушку или понял, что любишь Раю, Галю Ч. или Надю...

Я сегодня встала в 12 часов дня, и у меня уже письмо от тебя лежит – вот как хорошо!

Ты бы знал, как я по тебе соскучилась!!!

Высылаю тебе фото (правда, плохо вышла, но ничего).

Целую тебя крепко-крепко! До свидания.

Твоя Галя.

(ЭТО ГОВОРIT МОЯ ЛЮБОВЬ.)»

Сдав все экзамены, но не пройдя в университет по конкурсу, я вернулся, у нас были счастливые дни и вечера, а потом и та сумасшедшая новогодняя ночь. А вскоре я, получив отсрочку от армии по здоровью, зачем-то уехал на другой край земли, в Ворошиловград (ныне вновь Луганск), жил там несколько месяцев и получал от Галочки письма. И всё время в них

был какой-то надрыв, какая-то нервозность, ревность, беспокойство. Вот одно из той поры, характерное:

«Здравствуй, Коля!

Я привыкла, что на мои письма отвечают сразу, а если ты не хочешь, то можешь вообще не отвечать. Если ты меня не любишь и понял это поздно, то нужно было не писать мне – я тебя не просила. Ты, я думаю, уже познакомился с какой-нибудь глупой девчонкой вроде меня. Обо мне тоже не беспокойся: после твоего отъезда мне двое предлагали дружить (один учится в школе, а другой уже нет), и я на танцах познакомилась с Сашей из Абакана... Но я думаю, что тебя это не волнует и не буду вдаваться в подробности.

Как ни странно, но я сдержала слово и сфотографировалась и вот сейчас раздумываю: посылать тебе эту фотку или нет?

А знаешь, всё-таки ты мне много врал. Во-первых, ты сказал, что с Наташей из Тувы не переписываешься; во-вторых, ты обещал, что не расскажешь Коле С. о том, что я тебе выболтала, что он объяснился мне в любви. Я надеюсь, что ты одумался и больше не будешь дурачить меня.

Прекрасно, что тебе хорошо живётся в городе, а мне всё равно больше нравится наше село. Хотя, конечно, глупо судить, если я не была в Ворошиловграде. Да, а ты знаешь, что Коля С. собирается ехать в Ворошиловград (к тётке своей, что ли) и звал меня с собой. Скажи, глупости порет!

Я знаю, что тебя интересуют девочки Рая, Галя, Надя, но я о них ничего интересного написать не могу. Рая увлеклась очередным юношей, и он к ней, вроде, равнодушен, короче, дело идёт к дружбе. Надя, очевидно, продолжает любить Юру, а Галя всё такая же тихая и ко всем равнодушная. Скажи, информация!

Нет, всё-таки я ужасно много тебе пишу!

До свидания!

Галя.

Р. С. Вышли мне все мои фотки или хотя бы сожги. А эту я высылаю тебе просто посмотреть, и ты её должен сразу же выслать назад. И напиши: изменилась я или нет и в какую сторону. Только без лжи!»

Самый последний всплеск нежности и доверительной горячей любви случился у нас с Галей летом после моего возвращения с Украины. Началось всё, видимо, с очередной ссоры-размолвки, кои, как уже понятно, носили у нас перманентный и хронический характер. Короче, однажды Галя исчезла. Буквально. Я пришёл (или примчался!) на очередное свидание, а её нет и нет. Начал искать и выяснил: нет Гали и дома. Серёжка, брат, был где-то в отъезде, у родителей Галиных спросить я не мог – не те отношения. Вот уж я извёлся! Ходил по селу зелёный от тоски. Дошло буквально до галлюцинаций, и случай этот описал я позже в романе «Меня любит Джулия Робертс», где героиня носит имя Анна и тоже неожиданно уехала-исчезла:

...Я плёлся по Набережной в сторону городского пляжа без особой цели, вяло думая, мол, надо бы искупаться...

Меня что-то тревожило, беспокоило, царапало моё сознание. Я напряг мозги, и тут до меня дошло – впереди, метрах в ста, тоже в сторону моста шла... Аня! Я, разумеется, глазам своим не поверил, но чем больше взглядывался, до хруста вытягивая шею и уже невольно убыстряя шаг, тем убеждался несомненное – она, Аня! Её голубые джинсы, её майка с широкой красной полосой, её рыжая причёска – два коротких хвостика по бокам... Но главное, её сумочка, которую сам я ей и подарил (с помощью матери, естественно) на шестнадцатилетие – японская, из светлой соломки: такие в Баранове редко встречаются, очень редко...

Ну, Анька! Выходит, приехала-вернулась из деревни, а мне ни гу-гу!.. Или, стоп, она, видать, только-только приехала, узнала, что меня дома нет и – прямиком на пляж: знает, где меня искать в такое пекло ...

Все эти логические построения возникали-рушились в голове, пока я рысцой кинулся догонять Аню. Окликать не стал: во-первых, народу кругом больше чем надо, а, во-вторых, – люблю сюрпризить. Но шагов за десять я вдруг, против воли, вскрикнул:

– Аня!

Она испуганно обернулась, глянула и... пошла дальше. Я офигел.

– Аня!!!

Она втянула голову в плечи и ускорила шаг. Ничего себе! Я догнал её в два прыжка, ухватил цепко за плечо.

– Аня, ты чего?! Не слышишь?!

Мимо плелась парочка старперов: они вдруг убыстрили сколь можно шаг, испуганно на нас косясь, бабуся даже перекрестилась. Аня отшатнулась от меня в непритворном испуге:

– Что? Что? В чём дело?..

– Да, Анька, перестань же! – вскричал я в нетерпении, не понимая – сколько же можно так упрямо шутить?

– Да я не Аня, я не Аня!.. Вы же видите, видите – не Аня? – залепетала девушка, прижимая свою японскую сумочку к тощей груди.

Господи, да я и сам уже это видел-сознавал – как будто пелена какая с глаз упала...

(«Меня любит Джулия Робертс»)

Абсолютно всё так: до сих пор помню испуганные глаза той незнакомой девчонки, которую я преследовал и окликал «Галей» на вечерней улице села, и своё потрясение от такой явственной галлюцинации...

А на следующий день я получил по почте письмо, где в обратном адресе-подписи значился громадный Z (зет). Но почерк Гали я, конечно, сразу узнал, и сердчишко моё запульсировало в бешеном ритме.

«Коля, здравствуй!

Я думаю, ты уже догадался, от кого письмо. Я хотел сказать тебе устно, но не успела.

В общем, я люблю тебя, и ты это давно знаешь, но я не буду дружить с тобой, хотя ты, наверное, и сам не подойдёшь ко мне больше.

Коля, сожги, пожалуйста, мои фотографии. Ведь ты же считаешь, что я недостойна твоей любви, так зачем тебе мои фотки?

Коля, и ещё одна просьба: не думай обо мне плохо – поверь, я не заслужила этого. Я люблю только тебя и ни на кого не обращаю внимания. Я просто хотела доказать тебе что-то, а сама не знаю – что. Короче, давай считать, что мы просто не знакомы.

Пишу я тебе из Курагино потому, что устно я тебе не могла этого сказать – я бы опять расплакалась и тому подобное.

Прощай!

Галя.»

Я хотел расстроиться и загоревать всерьёз (в принципе, как ни крути, – отставка полная!), но не получалось. Я был счастлив. Во-первых, Галя моя жива и здорова, обитает у родственников в селе Курагино. Ну, а во-вторых, я понял-уловил, что и в это самое Курагино Галочка убежала из-за меня, и письмо писала со слезами ЛЮБВИ на глазах...

А через несколько дней Судьба подарила нам изумительную по неожиданности и накалу счастья сцену. Я в Абакане встретил мать и сестру, которые прилетели-возвратились из

гостей от родственников, в автобусе они сели впереди, а я забрался на камчатку, чтобы подумать-погрустить в одиночестве. Народу было довольно много, но место рядом со мной осталось свободным. Вдруг, уже выехав из города, автобус на повороте к нашему селу притормозил и остановился: обычное дело – кто-то голоснул. И вот я поднимаю взгляд и вижу в дверях автобуса мою Галю, по которой соскучился неимоверно, которую только что обнимал и целовал в мечтаниях, – вижу реально и воочию! Именно в этот день и час она возвращалась из своего Курагина. Галя тоже вмиг углядела меня в глубине салона, совсем почему-то не удивилась, прошла, села рядом. Надо было видеть наши блаженные улыбки до ушей, наши сияющие глаза – мы не могли оторвать взгляды друг от друга! У нас, правда, хватало ещё сил и сознания, чтобы не слиться прилюдно в жарком бесконечном поцелуе (тогда это было не принято). Но, улучив момент, я всё же положил-пристроил свою горячую ладонь на её открытую сверх меры ногу (платице на Гале было, как всегда, мини-мини), и мы буквально чувствовали-ощущали, как жар и энергии наших тел переливаются, соединяются, смешиваются в общий коктейль возбуждённого и пылающего единого организма.

В тот вечер мы не расставались до самого допоздна и опять, уже в какой раз, были на миллиметр от того шага в отношениях, который мог повернуть наши дальнейшие судьбы совсем по другому пути. Но всё и на этот раз ограничилось поцелуями, бурлением крови, обнажением тел и ласками-объятиями до боли...

Роман наш неизбежно приближался-стремился к финалу. В одном из писем, провожая меня в армию (меня в очередной раз забривали, но опять вышла отсрочка), Галя обещала ждать меня и совершенно ещё по-детски аргументировала-подтверждала свои клятвы:

«...до твоего прихода из армии (если тебя возьмут) я не буду дружить ни с кем: могу дать слово, что за полугодие у меня будет не больше четырёх четвёрток, а остальные пятёрки – это будет являться доказательством, что я учу уроки, а не развлекаюсь...»

Но уже в одном из следующих писем она почти совсем по-взрослому и, вероятно, вполне прозорливо замечает-анализирует:

«...Да, твоё предчувствие тебя обманывает: я тебя не ненавижу, ты мне нравишься, я тебя, может быть, люблю. Но у тебя есть один серьёзный недостаток – эгоизм. Я боюсь его. И только из-за этого я не пишу тебе нежные письма и периодически стараюсь прекратить нашу дружбу. У нас у обоих слишком скверные характеры, особенно у меня, и мы не сможем быть вместе. Во всяком случае, мне сейчас так кажется...»

Это писала ещё девочка. Чувственная, уже знающая себе цену и сознающая силу своих чар, но все же девочка-школьница. И какой контраст с последним её письмом ко мне – по лексике, по стилю, по тональности. Его, это самое последнее письмо, она написала, видимо, в ответ на моё (а я ещё долго унижался-цеплялся, пытаюсь вернуть её!), когда уже окончила школу, когда ушёл из её жизни-судьбы и тот парнишка, Володя, из-за которого она окончательно меня бросила и который, продолжив-завершив начатое мною, стал первым мужчиной в её судьбе. Это письмо писала ЖЕНЩИНА.

«Коля, ты вынудил меня написать это послание. Ты знаешь, я жалею только о том, что вовремя не смогла сделать из тебя человека, а это было в моих силах ещё тогда, когда я училась в 8 классе. Мне просто нужно было взять тебя в руки, но, увы, я не понимала этого.

Ты ошибаешься: у меня к тебе не осталось никакого чувства. Да, я тебя, наверное, никогда не забуду, но только потому, что ты был у меня первый мальчишка. Первый, кому

я разрешила проводить себя; первый, кто поцеловал меня. Но сейчас уже поздно, поздно тебе раскаиваться: я уже никогда не смогу поверить тебе.

Ещё ты ошибаешься в том, что считаешь, будто не заслуживаешь такого отношения с моей стороны. Ты заслуживаешь даже худшего отношения. Я вообще не верю, что есть любовь, но я не встречала лучшего парня, чем Володька. Возможно, он редко вспоминает обо мне, у него есть другая, и мы никогда не будем вместе, но я свяжу свою судьбу только с таким, как он, если, конечно, встречу такого, в чём сомневаюсь. Я убеждена, что лучше, чем Володька, парня нет. Если бы я верила в любовь, я бы сказала, что люблю его.

И не нужно, Коля, думать обо мне, писать мне и искать встреч со мной. Мы никогда больше не будем вместе – это полностью исключено. А что было, то прошло и этого никогда больше не вернёшь, как не вычеркнешь из памяти первую полудетскую дружбу, первый поцелуй.

Я стала совсем другая, я уже не прощаю измены, не верю тебе и лесть твоя мне не нужна. И напрасно ты считаешь себя выше других – это не так, поверь мне. И ты не любишь меня, нет, ты лжёшь и себе, и мне.

Больше никогда не пиши мне, я не буду читать – это ни к чему.

Будь счастлив.

Галя.

Р. С. А впрочем, я точно не уверена, что любви нет. Возможно, она есть, но только не для меня. Не каждый может любить и не каждую могут любить.»

Да, на этом практически всё кончилось. Финита...

Как можно понять из посланий Гали, она чего-то периодически ревновала меня и, видимо, это считала главной причиной нашего разрыва-развода. Но, насколько я помню, серьёзных причин для ревности у неё не было и быть не могло. Если я порой и провоцировал её на ревность, любезничая со всякими там Раями и Надями, то – нарочно, специально, по глупости, считая, что ревность взбадривает любовь, не даёт её утихнуть и заснуть...

(К слову, идиотское это убеждение сохранилось у меня до самых последних времён и здорово-таки мешает мне в отношениях с женщинами!)

Ну а в том, что с Галей совместная жизнь-судьба у нас не сложилась, на мой взгляд, виновны были три фактора: её родители, мой алкоголь и (тут она права!) наши с ней скверные эгоистичные характеры.

Родители её, повторяю, категорически возражали против нашей дружбы. Если бы в ту новогоднюю ночь мы с Галочкой согрешили до конца, то, не исключено, наш роман мог трагически развиваться-продолжиться по сценарию, доммысленному в «Казарме». Не мать, так папаша её вполне мог дочь свою избить-изувечить. Никогда не забуду, как однажды, проводив вечером Галю, я увидел, как сграбастал её у подъезда взбешённый отец, а потом из-за окна донеслись эти ужасные звуки – удары, крики, плач...

Насчёт алкоголя... Увы, именно в то время, в последних классах школы и сразу после неё, как раз в период нашей любви-страсти с Галей, я и начал чересчур увлекаться зеленым вином, пытаясь с его помощью растворить в себе комплексы, смягчить скукоженность и заскорузлость юнцовской натуры. Именно это, вероятно, и имела Галя в виду, говоря, что ей надо было сразу «взять меня в руки».

Ну, а что касемо характеров... Да, у меня он, этот характер, и до сих пор вполне дурацкий и садомазохистский. Что делать – такой достался! Галя тоже с юных лет была отнюдь не ангелом. Но, кто знает, была бы она ангелом, «тихим», как Галя Ч. (признаться, эта светлая девочка мне очень даже была симпатична!), – помнил бы я её так сладко и болезненно до сих пор?!

Короче, одному Богу ведомо, почему он развёл наши с Галей судьбы так кардинально и насовсем...

Стоп, вот сейчас, пересматривая фотоальбом той поры, я вспомнил о двух странных эпизодах, случившихся весной 1973-го, то есть за полгода до армии, когда от любви к Гале осталась только тихая воспоминательная грусть, когда уже я пережил и крах моего романа с Лидой, когда впереди вот-вот должна была произойти встреча с Фаей (о них – дальше). В подписи на одном из фото сохранилась точная дата – 25 марта. На фоне ещё ледовой реки – четыре человека в зимней одежде: Галя, её ближайшая подружка Рая, некий Саша (друг, по-нынешнему бойфренд Раи) и я. Фотал какой-то неизвестный мне Витя (он есть на другом снимке, стоит вместо меня рядом с Галей). Смутно помню, что ко мне подвалил накануне Саша (с которым мы особо не приятельствовали, просто здоровались при встрече) и оглоушил предложением: мол, завтра они идут компанией на остров на пикник, и Галя пожелала, чтобы и меня пригласили... Помню, как светился я и летал словно на крыльях от счастья в тот день, как ухаживал за Галей, обжаривая для неё шашлык повкуснее и наливая коньяк в стопку. Галя тоже была мила, улыбочива, нежна и ласкова со мной. Правда, небольшой конфуз чуть не испортил всё: она, видать, переборщила с коньяком, ей стало дурно, её начало прилюдно выворачивать... Но это лишь добавило-плеснуло ещё больше нежности к ней и жалостливой заботы. Я поддерживал её за талию всю дорогу из леса через реку в село, устраивал в доме Саши (он находился сразу на берегу) на кровати, снимал обувь, потом стоял на коленях перед ложем, держал руку Гали в своих ладонях, гладил, и говорил всякие нежные глупости, клялся в любви, а она мило и устало улыбалась, ласково на меня глядя...

Что было дальше и в этот день, и в ближайшие – не помню. Но на следующей серии фотопортретов Гали на фоне деревьев нашего сельского парка уже значится апрель, то есть мы уж точно встретились недели через две-три и, опять же хорошо помню, провели в этом парке почти весь день – счастливо и весело. На всех снимках Галя смеётся или улыбается, глаза её, смотрящие в объектив (на меня!), светятся и лучатся счастьем. До сих пор звучат в ушах её слова: «Господи, Коль, как хорошо и интересно с тобой!..»

Право, даже объяснить не берусь: что это было? Что за всплеск тяги-интереса ко мне? И почему этот всплеск так же внезапно исчез-прекратился?

Галя вскоре после этой встречи уехала в Красноярск, вышла там замуж, работала в магазине продавщицей (а как мечтала быть актрисой!)...

Встретились мы снова года через три, когда я уже вернулся из армии, устроился в районную газету фотокорреспондентом, и отец её (он работал директором типографии в том же здании, мы с ним к тому времени стали приятелями, и он действительно шутливо звал меня «зятьком»!), отец её пригласил меня домой – сделать семейное фото. Оказывается, Галя приехала (правда одна, без мужа), и у сына Сергея, тоже к тому времени семейного, только что родился первенец. Я пришёл со своими фотопричиндалами, долго ставил свет в комнате, они все, мои несостоявшиеся родственники, сидели на диване, ждали, я старался почему-то не встречаться взглядом с Галей. А когда наконец встретился, то увидел в её глазах печаль и грусть. Или мне показалось?

Да нет! Когда я уже собирался сворачивать свой фотоинструментарий, Галя вдруг попросила:

– Николай, сними, пожалуйста, меня отдельно.

Я снял-сфотографировал. Снимок этот сейчас – вот он, передо мной. Боже, в какую красавицу моя Галя выросла-развилась к тому времени! Ей – 22. Она сидит в джинсовой юбке и светлой кофточке, под которой обрисовывается грудь (ах, как я её ласкал-целовал!), руки сложены на коленях, на правой руке – широкое обручальное кольцо; светлые длинные волосы спускаются ниже плеч, безупречно красивое (для меня!) и умело подкрашенное лицо, а в глазах, смотрящих в объектив (на меня!), вот именно – откровенная грусть...

Потом мы с отцом Гали пили водку на кухне. Галя, переодевшись в милое девчоночье платье, подавала нам яичницу и салат. Я, слегка охмелев, пытался шутить. А у самого на душе кошки – цап-царап, цап-царап...

Больше мы не видались. Сейчас ей, если жива, – уже за пятьдесят. Два года тому я приезжал в родное село. Как-то вечером пришёл к её дому, сел у подъезда на знакомую лавочку (конечно, другую, но на том же месте), вспоминал... И тут подошла Галина Николаевна, моя бывшая учительница и соседка Гали. Естественно, разговорились. Она и поведала, что отец Галин давно умер, мать ещё жива, вышла замуж и живёт теперь на другом краю села, а Галя...

Ах, Галя! Не так давно она приезжала в село и заходила к Галине Николаевне, но не столько для того, чтобы пообщаться, а для того... чтобы взять взаймы денег на опохмелку. Выглядела она ужасно...

Я слушал и лучше бы мне этого не слышать! Моя Галя – спившаяся, опустившаяся, позорная баба?!

Если это так, то – слава Всевышнему, что мы не встретились, не увиделись!!!

Совсем недавно я впервые увидел стихотворение Владимира Набокова «Первая любовь» – ну прямо akurat в тему. Видать, и этого певца нимфеток мучила сия проблема.

*В листве берёзовой, осиновой,
в конце аллеи у мостка,
вдруг падал свет от платья синего,
от василькового венка.
Твой образ, лёгкий и блистающий,
как на ладони я держу
и бабочкой не улетающей
благоговейно дорожу.
И много лет прошло, и счастливо
я прожил без тебя, а всё ж
порой я думаю опасливо:
жива ли ты и где живёшь.
Но если встретиться нежданная
судьба заставила бы нас,
меня бы, как уродство странное,
твой образ нынешний потряс.
Обиды нет неизъяснимее:
ты чуждой жизнью обросла.
Ни платья синего, ни имени
ты для меня не сберегла.
И всё давным-давно просрочено,
и я молюсь, и ты молишь,
чтоб на утоптанной обочине
мы в тусклый вечер не сошлись.*

5. Прима

Да, вот так ёрнически приходится озаглавливать эту главу, ибо страшно как не хочется в названии повторять-дублировать дорогое мне имя. Увы, судьба жестокосердна и не знает границ в своей злой иронии: приму мою тоже звали Галей. И, конечно, никак эта Галина не может быть II-й, потому что в известном смысле она как раз самая что ни на есть – первая.

Мне вообще-то вовсе и не хочется писать эту главу, но уж никуда не денешься: была эта Галина в моей жизни-биографии, не забылась и забыться не могла. Вот это особенно и тяжело простить той моей *настоящей* Гале – что не она стала первой женщиной в моей мужской судьбе, а вот эта... её тёзка.

Конечно, мечтания и устремления лишиться поскорей невинности начали обуревать меня, как и любого другого пацана, лет с 14-ти, если не раньше. Хотя эротики, порнухи и даже, как заявила потом во время перестройки одна дурёха на ТВ, секса в тогдашнем Союзе вовсе не было, но суть и теорию *предмета* мы, подрастающие, знали получше алгебры, истории, литературы и прочих школьных дисциплин. Кой-чего почитывали, кой-чего послыхивали, кой-чего своими глазами видали. Некоторым из нас, счастливым, удавалось сладкий вкус практики попробовать совместно со своими *Галями*-ровесницами, впрочем, потом некоторые из них превращались в несчастных страдальцев, в жертвы (зри финал отрывка из «Казармы»), ибо предохраняться от последствий *практической* любви особо не умели, да и презервативов *нормальных* тогда тоже не было...

Итак, мне суждено было пойти другим путём. Момент перехода-посвящения из мальчиков в мужи был неизбежен – надо было только дожждаться случая и не оплошать. Особенно насыщенным на секс-ситуации стало лето после 9-го класса, аккурат после начала романтического романа с Наташей и перед встречей с Галей. Мне уже шестнадцать, я уже познал жаркую постыдную сладость ночных поллюций и тайных мастурбаций. Оставалось только одно: шерше ля фам...

И я искал!

Причём, то ли я был уж совсем пентюхом, то ли просто не везло, но все друзья-приятели мои давно уже перескочили греховный Рубикон, вкусили плотских утех, а я всё ещё был-оставался мальчиком-дрочуном. И обстоятельства почему-то складывались так, что всё время подворачивалась какая-то групповуха. Так, однажды сосед и товарищ мой Юрка (он был на два года постарше меня) потащил меня вечером на другой край села, обрисовав перед этим ситуацию: там поселилась с недавних пор какая-то приезжая одинокая бабёнка, которая *всем даёт*... Что Юрка не соврал, можно было догадаться уже на подходе к хатёнке: там кучковалась целая орава возбуждённых парней. Они один за другим исчезали за дверью, через какое-то время появлялись довольные, застёгивая штаны и посмеиваясь. Сходил и Юрка. Я, не решаясь даже самому себе признаться, что робею, решил дожждаться его, порасспросить, а уж потом и вклиниться в живую очередь. Юркин рассказ меня сразил. Оказывается, заезжей «Джульетте» этой уже явно за сорок, груди у неё висят до пупа, но самое главное – она одноока: вместо левого глаза у неё бельмо!

Короче, очередь свою я пропустил и вместе с довольным Юркой («А чё, лицо я ей фуфайкой закрыл, а подмахивала она классно!..») отправился домой – *целёхоньким*, как был...

Следующий случай оказался почти аналогичным. На этот раз другой приятель, Колька (этот, наоборот, на два года отставал от меня в возрасте), прибежал весь взмыленный, зачастил с порога:

– Колян, собирайся, поехали! Там, в лесу, девчонка! Сбежала из дома!..

Я, уловив в момент, о чём речь, тут же подхватился, вывел из сарая велик, мы вскочили на него и понеслись. По дороге Филиппок (кликуха Кольки), ёрзая от возбуждения на раме, выложил-доложил все подробности: 15-летняя девчонка из Абакана сбежала от родителей и почему-то обосновалась в лесу возле нашего села – там ей пацаны уже построили домик-шалаш, носят ей еду-питьё, а платит-благодарит она за это *натурой* – щедро и без отказа.

Домчались. Картина, отрывшаяся взору, впечатляла: на большой поляне рядом с зелёным шалашом стоял-толпился кружок пацанья школьного возраста, а в центре на какой-то расстеленной тряпке совершался прилюдно акт совокупления совершенно голой девчонки и шкета в спущенных штанах. Было и чудно на это смотреть, и как-то стыдно. Но и оторваться невозможно!

Я стоял, смотрел, возбуждался и мандражировал всеми фибрами души: решиться или нет? И тут друг Колька, опередивший меня и только что прилюдно потерявший девственность, чуть не в голос, ещё не застегнув штаны, заорал:

– Давай, Колян! Твоя очередь! Давай, чего ты?!

Я на ватных ногах приблизился к лежащей-отдыхающей на спине девчонке, опустился на корточки, неловко теребя одной рукой ремень брюк. Она приподнялась на локте, всматриваясь мне в лицо, словно интересно её было обличье очередного *входящего*, а я успел разглядеть и довольно симпатичную мордашку с распухшими губами, и розовые соски на маленьких грудках и уже было решился, как вдруг увидел-заметил под девчонкой на мягкой ткани липкое влажное пятно и стекающие из её переполненного нутра белесые тягучие капли...

Потом, всю дорогу домой, пока Филиппок подначивал-стыдил меня за «трусость», я пытался задавить в себе тошноту и изгнать из памяти настойчиво пульсирующие строки: «Лижут в очередь кобели истекающую суку соком...»

Ну а вскоре Судьба не только на групповуху меня решила подтолкнуть-спровоцировать, но и вовсе на уголовную статью 117-ю (в тогдашнем УК – за изнасилование). У приятеля Шурки уехали куда-то родители, и он остался дня на три полновластным хозяином хаты. А в это время Юрка, с которым мы ходили к одноглазой Дульдинее, обхаживал соседскую Людку, свою ровесницу – ярко-рыжую и породистую девку. И вот мы чего удумали: Юрка наплёл Людмиле, будто родственники попросили его посторожить их дом-избу на время отъезда, заманил её туда «подружить» в тепле (дело было в конце августа, и в нашей Сибири по вечерам уже холодало), девчонка согласилась, не подозревая ни сном ни духом, что кроме их двоих в натопленной избе притаились на горячей русской печке ещё два обормота и ждут своего часа. Предполагалось, что Юрке удастся уговорить-уломать Людю, а потом, когда *всё* произойдёт, с широкой печи, словно былинные богатыри, спустимся мы с Шуркой, Юрий разыграет сцену благородного негодования (мол, доверился друзьям, рассказал про свидание в пустом незапертом доме!), ну и, конечно, смущённой и испуганной Людмиле ничего не останется, как добровольно-вынужденно ублажить и нас с Шуркой, дабы мы не разболтали об её «позоре»...

Всё поначалу шло по сценарию, как по маслу: Юрка свет потушил по просьбе Людды, она, судя по репликам и тону, всё неубедительнее сопротивлялась в полумраке его настойчивым ласкам и поползновениям её раздеть, уже и резинка девичьих трусов звучно лопнула, вселив весомые надежды в сердца и Юрки, и наши...

Но в сей пиковый момент я взял, да и чихнул. Юрка ещё попробовал спасти ситуацию, что-то вякнув про кота, но тут уж Шурка, подлец, не выдержал и загоготал в голос...

Ах, как достоверно Юрка возмущался нашей вероломности, пока мы слезали с печи и выбирались из хаты! Ах, как краснела в сей момент и потупливалась бедная Людмила, придерживая спадающие трусы!..

Самое смешное, а может быть, и трогательное в этой истории то, что лет десять спустя, когда Людмила эта жила уже в Абакане, была разведёнкой, а я учился в Москве, мы как-то в

один из моих приездов встретились-сошлись в общей компании, разговорились-законтачили, поехали к ней в город и провели вместе *чудную бурную* ночь...

Чего только в жизни не бывает!

* * *

Ну так вот, вскоре в моей судьбе появилась Галя, все мои чувства-устремления связались только с ней, я, как уже понятно, втайне предвкушал познать-разделить запретный плод с нею, но...

Впрочем, чего ж повторяться.

Так или иначе, но момент наконец настал. Как-то в один из сентябрьских вечеров (это уже на следующую осень, я как раз школу кончил) тот же Колька-Филиппок примчался ко мне с заманчивым известием: в соседнем шахтёрском посёлке появилась девка-тунеядка из Москвы – ну совсем безотказная. Всё верняк – он, Колька, уже *пробовал*!

Ну, что делать? С Галей моей милой, видимо, был я в ссоре, вечер свободный – отчего ж не попытать судьбу? Побежали с Филиппком к автобусной остановке, одолели 10 кмэ, пришли к дому, где жила москвичка Галина. (Не все, может быть, знают, что в те времена из Москвы выселяли, в основном в Сибирь, так называемых тунеядцев – не желающих работать и получать твёрдую советскую зарплату особей; была статья в Уголовном кодексе за тунеядство.) Колька постучал, исчез за дверьми, а я, признаться, в скептическом состоянии (да не получится ни фига!) стоял у калитки, курил.

Выходит Филиппок. А за ним – женская фигура в телогрейке-ватнике. То ли радоваться, то ли нет? Вроде как всё получается-наклёвывается, но, с другой стороны, – телогрейка позорная... Пока я определялся с настроением, они приблизились, и я приободрился: девка оказалась очень даже вполне – лет 25-ти, брюнеточка с тёмными большими глазами, фигуру даже фуфайка-стёганка испортить не могла. Конечно, на пока ещё молодом лице уже проступили-отпечатались припухлые следы обильных винно-водочных возлияний, голос оказался прокуренным и ногти на руках обломанными, но отвращения эта Галя пока ещё не вызывала, отнюдь.

Не мешкая, мы прошли по переулку к реке, устроились на ещё зелёной травке под забором, быстренько распили привезённую бутылку портвейна, закусили плавленым сырком и...

И подоспело «и»!

Я, естественно, уступив право «первой ночи» опытному Кольке, удалился-спустился к реке, посидел там в лодке, глядя на быстронесущиеся тёмные воды и стараясь не думать о предстоящем. Да как тут не думать-то?! Так думалось, что штанцы мои совсем не новые еле выдерживали напор рвущихся наружу желаний и сил. Раздался тихий оклик, я увидел Филиппка на откосе и понял: час моей пацаньей невинной юности пробил!

– Давай, Колян! Не дрейфь! – почувствовав моё смятение, подбодрил дружок. – Баба – класс!

На негнущихся ногах я взобрался по яру, приблизился к месту нашего пикника. Она сидела на своей телогрейке, обхватив колени руками. Размыто улыбалась мне навстречу. Я, ещё не веря, что решусь, опустился на корточки, положил руку на её колено, обтянутое грубым чулком, скользнул ладонью дальше, вглубь и вдруг почувствовал ладонью тёплую кожу, голое тело...

И всё сразу рухнуло. Вернее – взорвалось. Ни сомнений, ни страхов, ни мандража. Да и сознания толком уже не было. Одно всепоглощающее желание, вожделение, томление плоти. Только ещё запечатлелся остро в памяти вот этот сладкий, горячий до боли миг первого проникновения-вхождения в женское тело...

Признаться, несмотря на всю остроту и пронзительность ощущений-воспоминаний о *половом дебюте* – у меня в последующие дни и в мыслях не было продолжить этот *роман*. Однако ж через неделю на пороге нарисовался Филиппок и озадачил:

– Там Галька приехала... Тебя хочет!

Он, может, сказал-добавил «видеть», но фраза по смыслу прозвучала именно так. Я ещё в первый миг несуразно подумал, что речь идёт о *моей* Гале, но потом врубился – о той, москвичке.

Она ждала нас в лесу. Увидев меня – разулыбалась, потянулась навстречу, губы подставила. Было и странно, и чуть неловко, но и – приятно, чёрт побери! Она на этот раз, было заметно, принарядилась: куртка болоньевая, юбка серая, беретик. Развели костерок, выпили. Угадывалось, что Колька хочет повторить прежний сценарий: он начал всячески намекать мне, подмигивая и прикашливая, что, мол, пора мне и оставить их с Галей наедине, удалиться на время. Я был не прочь, хотя и настроение от этого притухло-приглушилось. Но вдруг дама наша внесла коррективы:

– Филиппок, – сказала она задушевно, – иди, дружок, дров для костра собери, а то тухнет уже и гаснет... И подольше не возвращайся! Хорошо?

– Ладно-ладно! – буркнул уязвлённый до глубины души и паха Колька, удаляясь. – Полчаса-то хватит?

– Мы, дружок, тебя позовём, когда надо...

Филиппку пришлось томиться-маячить в отдалении целый час. Галина за этот час преподала мне урок телесно-чувственной игры по полной программе. Если неделю назад я прошёл с нею начальную школу секса, то на этот раз мне можно было выдавать аттестат-свидетельство об окончании по крайней мере средней трах-школы.

Не знаю, может быть, с этой Галиной суждено было мне пройти и университеты с аспирантурой по сексу, но третье наше свидание оказалось и последним в виду весьма даже драматических событий-последствий. На этот раз, недели через три, она приехала специально ко мне – Филиппка мы и не тревожили. Уже и в тот раз Галя призналась мне, что не имеет ни малейшего желания *давать* ему, но всё же уступила разок только из жалости и по доброте – ну не совсем же напрасно мёрз-дрожал он целый час в лесу, пока мы наслаждались возле костерка *камасутрой*.

Галина, нимало не смущаясь, пришла к нам домой (тогда, по дороге к остановке, я показал ей, где живу), постучала в дверь. Открыла ей муттер (мать моя преподавала немецкий в школе), конечно, удивилась странной гостье, которая находилась явно подшофе. Правда, та заходить не стала, лишь попросила вызвать на улицу «Николая». Я выскочил, весь пунцовый, но разозлиться толком не смог – очень уж внизу живота сразу защекотало в предвкушении оргазмов...

Было уже начало октября, на земле лежал иней. Я повёл свою зазнобу на ферму за селом, нашли мы там сарай с сеном, и греховно-сладкий урок продолжился в полной мере...

Когда я вернулся домой, мать моя, ни слова не говоря, положила на кухонный стол, где я принимал свой скудный ужин, журнал «Здоровье», раскрытый на странице со статьёй о венерических заболеваниях. Я только смущённо хмыкнул и чего-то нахамил.

А через три дня, когда я решил традиционно утром отлить, вдруг обнаружилась у меня *глазная* болезнь: только-только горячая струйка отходов вырвалась из моего тела на волю, как глаза мои буквально вылезли от боли на лоб. Напророчила матушка!

Тема для отдельного рассказа, как я через пару пыточных дней, всё же напуганный журнальной статьёй, припёрся-таки в районную поликлинику, как выяснил, что *любовными* хворями в нашей сельской больнице занимается по совместительству (вот уж ирония судьбы!) именно окулист да притом мать моего бывшего одноклассника, как врал я ей, багровый до свекольного оттенка, про свои беспамятные секс-похождения якобы в Абакане, как целую неделю

дырявили мне задницу уколами, вливая в заразный организм лошадиные дозы пенициллина (триппер тогда лечили им, родимым), как после курса лечения меня отправили в областной кожно-венерологический диспансер на тестирование и там проходил я это треклятое тестирование (снимал штаны, позволял выдаивать из себя «сок» на анализ) на глазах десятка девчонок-ровесниц – практиканток медучилища...

Тьфу, лучше не вспоминать!

Забыть бы и эту сучку Галину, но, как уже говорил, – не забывается. Ладно, пусть будет земля ей пухом (наверняка ведь уже давно пропала-сгинула с этого света на тот).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

6. Лида

Можно было ожидать, что с тех пор я стану осторожнее и серьёзнее в вопросах половой холостяцкой жизни...

Конечно, какое-то время я очень даже опасался повторения *болезненного* опыта, поэтому любовных приключений не искал. К тому ж с Галей (моей родной Галей!) мы как раз крепко помирились, и мои надежды на нормальную – в любви и страсти – жизнь запылали с новой силой. Но когда любовь-страсть промежду нас с Галечкой окончательно притухла и покрылась пеплом (на стихи, что ли, перейти?), я крепко затосковал. И не только по сильным чувствам-эмоциям, но и просто – по женскому телу. С Галей мы хотя бы очень жарко зацеловывали и оглаживали-ласкали друг друга (забугорного слова-термина «петтинг» тогда не знали), получая нехилое наслаждение, а теперь я и того был лишён.

Понятно, что в такие моменты-периоды жизни кажется, что она, жизнь, может быть, уже и закончилась, больше ничего нового и радостного впереди не ожидается, остаётся жить только воспоминаниями... Но Судьба не дремлет!

Впрочем, пора к сути.

Я работал на стройке в бригаде плотников-бетонщиков. У меня и в мыслях не было искать там, на работе, свою новую любовь. Вокруг, в основном, пожилые мужики и бабы в заляпанных робах, кирзовых сапогах и рукавицах-верхонках. Табачный дым, портвейн, водка и сплошной мат. Да и работёнка была не из лёгких: натаскаешься бетона в носилках, намахаешься топором и молотком, сбивая опалубку, потом одно желание – посидеть где-нибудь в тихом уголку или полежать. Не до лирики и томных мыслей! К тому ж я приспособился носить в кармане спецовки книжки и во время перерывов-перекуров доставал томик Чехова, Куприна или Бунина и отгораживался от строительного мира напрочь, уходил в *иные миры*...

Но однажды в день получки под конец смены я занял в конторе очередь в кассу за нашей крановщицей Надей и отправился на улицу покурить. В дверях столкнулся с незнакомой девочкой. Да, первое впечатление было именно таким – девочка-подросток. Я отнюдь не великан (метр семьдесят), а она мне едва доставала до плеча. Одета была *цивильно*: курточка, вельветовые брючки, ботиночки. И даже не это закоротило, а – взгляд. Она, эта незнакомая юная женщина (всё же я понял-определил, что она старше меня) своими выразительными серыми глазами как-то ошеломлённо глянула на меня и на мгновенье замерла. Не успел я как-нибудь отреагировать-съёрничать, как сзади напирющие работяги вытолкнули меня на крыльцо. Я закурил и задумался. Чего это она *так* уставилась? Прыгнул на подножку стоящего у конторы самосвала, осмотрел себя в зеркало – вроде лицо чистое.

Когда вернулся к окошку кассы, обнаружил, что моя таинственная незнакомка стоит-общается с Надей.

– Надежда Петровна, – вполне развязно встрял я, – вы предупредили эту красивую девушку, что я за вами?

Вообще-то развязность не мой конёк, но иногда на меня накатывало. К тому ж я заметил, что девушка опять как-то странно на меня смотрит. Что за чёрт?!

– Эта красивая девушка, Коля, – моя сестра, Лида, – светло улыбаясь, пояснила Надежда, – так что ты теперь будешь за ней.

Я, пожалуй, впервые видел, как крановщица Надя, эта тридцатилетняя замотанная работой и ревнивым мужем (он не раз гонялся за ней по всей стройке с топором) женщина, улыбается...

– А может, пусть лучше будет она за мной... как за каменной стеной? – раздухарился я. Лида загадочно смотрела и молчала...

С того дня она вошла в мою жизнь. Поначалу я, забыв напрочь про Чехова, Куприна и Бунина, каждую свободную минуту спешил с ней повидаться на работе, а затем начал гостевать у неё дома и вскоре чуть вовсе там не поселился. Лида была старше меня на четыре года, имела как раз четырёхгодовалого сынишку, приехала-перебралась из Набережных, что ли, Челнов после развода с мужем, к родным сёстрам (кроме Надежды, была ещё и самая старшая – не помню, как её звали; вроде бы, Тамарой) в наше село. Приютила Лиду с сыном в своём обширном доме на улице Строителей старшая Тамара – то ли вдова, то ли тоже разведёнка с двумя детьми. Вот в это бабье царство с детским садом я совсем неожиданно для себя и угодил-проник. Лиду, как только она устроилась в наше строительное управление, сразу отправили на курсы крановщиков в Абакан, и вот она после их окончания две недели уже работала на соседнем участке, пока мы вот так судьбоносно не столкнулись в дверях конторы.

Конечно, вскоре объяснились и загадочные взгляды Лиды при первой нашей встрече, и наше такое стремительное сближение-сплетение душ, а затем и тел. Оказывается, я был практически двойником (естественно, – младшим) учителя физики, в которого она без памяти влюбилась в выпускном классе школы. Роман тот школьный был страстным, скоротечным и закончился драматично: физика выперли из школы, его бросила жена и он уехал-исчез неизвестно куда, а Лиду исключили из комсомола и хотели даже из школы, но всё же пожалели и позволили получить аттестат, правда, без медали, которую она очень даже заслуживала. Этот рассказ Лиды о своей первой горькой, но и сладостно памятной любви впоследствии аукнулся эпизодом в моём романе «Алкаш», в кипучей биографии героини Лены:

...А в десятом классе у неё случилась бурная история с учителем физики. Вечером, на факультативе, они проводили-делали какой-то опыт и пережгли пробки. В темноте крошечной этой Бойль, этот Мариотт барановский, ища дверь, случайно наткнулся на Лену, нечаянно обнял, замкнулась какая-то неведомая цепь, и ток возжеления мгновенно сотряс их – учителя и ученицы – тела. Пока остальные мальчишки-девчонки суетились, пищали, искали огонь, этот Фарадей, этот Ом общеобразовательный и Лена успели так нацеловаться, натискаться и возбудиться, что еле дождались затем уединения и устроили короткое замыкание телес – совокнулись...

(«Алкаш»)

Конечно, уничижительно-насмешливая тональность повествования относится к образу Лены (прототипом которой послужила Лена III) – у Лиды с реальным учителем, насколько я помню, всё было чище, возвышеннее и не так скоропалительно-блядски.

Не сразу дело сладилось и у нас. У меня какой опыт? Галя-школьница с её девическими комплексами и страхами, которые я так и не смог преодолеть-сломать, да Галина-москвичка без всяких комплексов и страхов, которую и уговаривать-уламывать не надо было – сама набрасывалась. Лида, понятно, была ни той, ни другой, так что с чего и как начинать *полное* сближение я и понятия не имел. Приходил в гости, пили мы чай вместе с Тамарой Петровной и всей детской ватагой, потом оставались с Лидой в комнате одни и... дружили. Ну чего-то там разговаривали, стихи читали, музыку слушали – Ободзинского с Магомаевым, «Поющих гитар» с «Орэра» да Радмилу Караклаич с Сальваторе Адамо (Лида всю первую полочку романтично

ухнула на портативный катушечный магнитофон, которые только-только тогда появились), о своих прошлых днях вспоминали-рассказывали... Не помню даже – целовались мы или нет.

Сколько бы такая детсадовская идиллия тянулась – Бог весть, только Лиде томиться, видимо, надоело (а она томилась, ох как томилась-горела желаниями – это я потом понял), и в один из таких вечеров она предстала передо мной не в брючках или платье, а в домашнем очень даже лёгком халатике. К тому же (и как это получилось-то?!) и в доме никого не было, и мы с ней оказались на полу, на ковровой дорожке, рассматривая фотографии в тяжёлых альбомах. К тому же вдруг открылось (в прямом смысле слова!), что под халатиком у Лидии Петровны вроде как больше ничего и нет... Тут уж, понятно, и медный истукан бы не выдержал.

И я не выдержал!

Правда, уже запустив тихой сапой руку под халатик и обмерев в робости, всё же спросил прерывистым и умоляющим шёпотом:

– Лид, можно?

– Можно, можно! – нетерпеливо выдохнула она, опрокидываясь на спину и притягивая меня к себе.

Я, мгновенно забыв все уроки Галины-москвички («Не торопись! Не спеши!...»), засуетился, еле успел приспустить свои штаны, набросился на Лиду, ворвался-влетел внутрь, толком сам ничего не понял, как – взрыв, фейерверк, гейзер, солнечный удар...

И всё кончилось!

Лида, чувствовалось, даже толком ничего не поняла: что это такое было-то? Она села, запахнула халатик, обхватила колени руками и странно, с каким-то чувством вины, на меня, скукоженного донельзя, глянула.

– Господи, что я наделала! Да ты же ещё мальчик! Я у тебя первая, да?

– Ну хватит тебе! – буркнул я. – Совсем не первая!..

Однако ж Лида не верила и весь вечер потом сокрушалась: мол, надо было тебе с девчонкой-ровесницей невинность потерять, чтоб всё чисто было и возвышенно...

Назавтра был опять день то ли получки, то ли аванса, и вечером я притопал в гости с подарком для Сашки, Лидино пацана (который с первых дней удивительно как привязался ко мне), – игрушечным автоматом на батарейках. Он сверкал, стрекотал, стоил довольно дорого и вообще о таком любой парнишка в то время мечтать только мог. Сашки дома не было – играл где-то на улице. А Лида, увидев-разглядев подарок, вдруг насупилась.

– Забери, Коля, не надо нам никаких подарков...

– Ты чего? – не врубился я. – Сашке понравится, я уверен!

– Коля, – Лида взглянула на меня серьёзно, в упор, – ты что не понимаешь, что это получается как плата за вчерашнее?

Вот она – женская логика! Я уж и так убеждал Лиду, и этак – бесполезно: нет, ты этим подарком меня унижаешь и оскорбляешь!

Я был по случаю получки слегка подпортвейненный, вспылел наконец, выскочил на крыльцо и, схватив злосчастный автомат за дуло, со всего маху запустил его в соседские огоры. Острая мушка распоролла мне ладонь до кости, я потом истекал кровью, Лида плакала, перевязывая мою ладонь, целовала её и меня и кляла на чём свет стоит меня за дурость, а себя за идиотскую принципиальность. Она даже подхватила идти искать заброшенную игрушку в чужие огороды, но я уговорил её оставить затею до утра: и сумрачно уже, да и...

Я жадно обхватил её здоровой рукой и приник к губам. Лида сначала чуть замялась (на кухне Тамара Петровна гремела посудой), но потом ответила, открылась, впустила меня.

Видимо, за сутки я резко помудрел и повзрослел, вспомнил секс-грамоту, и в этот вечер всё у нас с Лидушей получилось классно и замечательно...

А потом я достал и раскрыл тетрадку-дневник, который вёл в последние полгода нашей с Галочкой любви и где подробно описывал наши ласки-обжимания, так что постороннему чита-

телю могло показаться, что *всё-всё* у нас с Галей было и получалось, и дал этот дневничок Лиде – сильнее боли в руке кровоточила рана в сердце, что она считает меня за мальчика-несмышлёныша. Ну а про московскую Галину не мог же я ей сказать-открыться – почему-то было ужасно стыдно. Пусть уж думает, что я с Галей впервые всё испытал-попробовал...

И вот началась моя почти что семейная жизнь. Я иногда по две-три ночи (чаще на выходные) ночевал у Лиды, спал с ней в одной кровати. Тамара к этому относилась вполне благоклонно, считая, что если сестрёнка счастлива – то остальное не важно. Белобрысый Сашка звал меня «дядь Колей» и буквально прилипал, когда я появлялся. От Надежды мы с Лидой нашу любовь скрывали: она, почуяв эту связь-любовь, категорически воспротивилась – мол, он (то есть, я) ещё совсем мальчишка, ему в армию скоро, а Лиде надо искать мужа и отца для сына... Тоже мне, благодетельница-печальница – свою семейную жизнь устроить не сумела, а других учит! Пару раз, когда Надежда Петровна неожиданно заявлялась-заглядывала рано утром к Тамаре Петровне, мне приходилось, схватив одежду в охапку, из тёплой постели нырять под кровать и там отлёживаться-хорониться.

Это было благословенное лето! Я и правда уже подумывал о женитьбе, об усыновлении Сашки, о тихой, мирной семейно-строительной жизни. Мы с Лидушей не только осчастлививались в постели, но и гуляли по вечерним сельским улицам, забирались по воскресеньям в глубь леса, ездили порой в Абакан – поесть-выпить «по-киношному» в ресторане и вообще подышать городской чужой жизнью. А какие чудесные вечера и ночи проводили мы с ней на чердаке Тамариного дома, где хранилось сено для коровы! Я уж не говорю о том распиравшем меня чувстве гордости, с каким ходил я по стройплощадке, сидел в рабочей столовке вместе с Лидой на глазах у всех: у меня такая взрослая и такая пригожая *подруга*! Мне казалось, все на нас смотрят-любуются и нам завидуют...

И сплетали-расплетали мы наши молодые горячие тела в то лето без усталости – поглощали друг друга, растворялись друг в друге и не могли насытиться. Но со временем в этом плане начало проявляться-обнаруживаться одно «но», которое, как тёмное едва заметное облачко на горизонте, предвещало грядущую перемену погоды, ненастье и грозу-разлучницу. Дело в том, что москвичка Галина не успела или не пожелала (а может, я сам не захотел) преподать мне очень важный урок на тему – «Оральный секс».

Надо сказать, что в те времена, по крайней мере в наших сибирско-сельских палестинах, слов-понятий «минет» и «куннилингус» не имелось вовсе. В кругу сверстников, когда возникала эта тема, первый термин заменялся сподручными синонимами «за щеку» и «в рот», ну а второй и вовсе был без надобности, ибо то, что он обозначает, вызывало у всех нас только брезгливость, презрение и осуждение. Как можно *такое* делать?! Помню, тот же Филиппок рассказывал, кривясь от омерзения, как один наш общий знакомый парень, только что вернувшийся из тюрьмы, выпрашивал у одной тоже известной нам девахи «дать разок», а та поставила условие: «Полижешь – дам!» И парень этот согласился! Филиппок от гадливости даже сплюнул. И мы, все его приятели-слушатели, тоже с отвращением сплюнули. Тьфу, лизать п...ду!

Ну так вот, вскоре я стал замечать, что Лида, во время предварительных ласк обцеловывая меня, как-то странно задерживается в районе пупка и ниже, как-то особенно бурно начинает дышать, касаясь щекой моего *дружка*, а порой и быстро, как бы украдкой скользит по нему губами, чмокает. Я каждый раз напрягался, уворачивался и даже отводил-отклонял её голову рукой. Однажды, правда, когда мы оба были после застолья, и ласки наши приобрели особо высокий градус, Лида настойчиво взялась обцеловывать-облизывать мой живот, а потом спустилась ниже и решительно обхватила губами мой член. Волна блаженства тут же захлестнула меня, предчувствие изумительного взрыва наслаждения вошло в затуманенный мозг, но я, дурень и остопоп, последним усилием воли встряхнулся, оттолкнул Лиду и даже вскочил с постели...

Она обиделась.

Кто знает, возможно, я бы уже вскоре постиг с Лидой этот лакомо-постыдный курс орального секса в полной мере, понял бы и *впитал* всю его головокружительную сладость, но Судьбе было угодно вмешаться, отправить меня в «академический отпуск» ещё на несколько лет.

Получил я очередную повестку в армию. До этого уже трижды пытались меня забрить, но каждый раз давали отсрочки по здоровью. В армию я, честно сказать, отнюдь не стремился, ибо мечтал, накопив двухгодичный трудовой стаж, необходимый для поступления на факультет журналистики, подать весной документы в Московский университет. Так что и на этот раз во время прохождения военкоматовской медкомиссии я жаловался на свой организм как только мог. Впрочем, у меня действительно к тому времени уже и желудок давал сбои, и позвоночник был повреждён, и два ребра, сломанные за полгода до того, ещё ныли-постанывали, и зрение минус три на оба глаза, не говоря уж о плоскостопии, по причине которого раньше вообще белым билетом награждали.

Однако ж наш майор-военком при мне отдал приказ прапорщику: этого призывника в армию отправить во что бы то ни стало – иначе, мол, сам за него в действующие войска отправишься! (Всё это я живописал подробно потом в повести «Казарма».) Таким образом, через районную комиссию меня протащили-проволили чуть не насильно, не слушая мои охи-жалобы, но в области я, разозлившись и упёршись, заявил хирургу, что сломанные рёбра ещё здорово болят-ноют, так что по ночам даже спать не могу. Это, конечно, было преувеличением, гиперболой, но как раз в левой части груди, в месте перелома рёбер, у меня с рождения темнеет на коже большое – с ладонь – странное пятно, происхождение которого даже муттер мне не смогла или не захотела прояснить, так что областной хирург купился сразу и даже сделал выговор бедолаге прапору: дескать, как вы могли притартать на областную комиссию призывника, у которого даже синяк после серьёзной травмы не рассосался?!

Дома меня по приказу военкома бросили в камеру-палату больницы на капитальное исследование и лечение, дабы к будущему призыву я и пикнуть о своих хворях не посмел. И так получилось, что в ту же больницу (а она у нас и была одна – районная) и в то же время попал-загрелел и Лидин Сашка – что-то у него там с животом случилось. В лечебнице мы с ним окончательно сошлись-подружились, и он даже пару раз, обмолвясь, уже назвал меня «папой». Да и то! Я буквально не отходил от него – кормил и рот салфеткой утирал, собирал его анализы в баночки и спичечные коробки, рассказывал на ночь сказки. Лида регулярно навещала нас, приносила вкусности обоим в одной сумке. И мои мать с сестрой, когда собирались меня навестить, знали уже, что надо прихватить с собой побольше сладостей. Раз два-три за этот месяц я поздними вечерами совершал побеги из палаты, пробирался в больничных тапочках и пижаме к Лидиному дому и нырял к ней в постель, доказывая очень интенсивно и бурно, что мужик я вполне здоровый...

Идиллия!

Но подводные течения грядущих драматических событий уже набирали силу и ход. Перед тем, как начался мой армейско-больничный долгий отпуск, к нам на стройку пригнали отряд «химиков» (условно осуждённых и условно освобождённых), и вот Лидуша моя, рассказывая о делах-событиях на работе, стала к месту и ни к месту упоминать какого-то «химика» Юру – водителя самосвала.

Мне это страшно не понравилось. И не зря! Как только я вновь вышел на пахоту, старшие мои сотоварищи-друзьбаны строительные (а работал я уже в комплексной бригаде, и Лида со своим башенным краном – на нашем участке) мне тут же с плохо скрываемым наслаждением и показным сочувствием поспешили поведать, как она обедает с химиком Юрой (он тоже обслуживал нашу бригаду) в столовой за одним столиком, то и дело сидит в кабине его самосвала...

И начался мой ад.

Кстати, с Галей я горький вкус ревности в полной мере так и не распробовал, не вкусил. Там все эти отелловские страсти были больше головными, теоретическими. Ну, во-первых, не

было чувства полного владения, ощущения абсолютного собственника, которое может сформироваться-возникнуть только после физического обладания любимой. А во-вторых, когда Галя ушла от меня к тому парнишке-ровеснику, они попались мне на глаза вместе всего дважды. Один раз, ещё в самом начале, когда сердце моё кровоточило свежей раной, и я всё ещё не верил в измену Гали, надеялся её вернуть, они припёрлись в субботу на танцы в Дом культуры. Сам я не кровожаден и драться никогда не любил (да и не умел!), но приятели мои во главе всё с тем же Колькой-Филиппком оскорбились за меня, выманили-вызвали на улицу этого Володьку и, как я ни пытался помешать, успели пару раз вмазать ему под дых и по скуле, однако ж он шустрее зайца сиганул от них прочь, забыв, по крайней мере на этот вечер, про Галю напрочь...

Конечно, горькую для меня ситуацию это не исправило, напротив, усугубило, и я вообще все свои отчаянные надежды и ожидания потерял, но с того вечера по крайней мере в клубе они вместе появляться перестали, а на улице я их встретил потом только один раз – скукожился, отвернулся, прошёл мимо...

Одним словом, правило довольно простое: чем реже видишь свою неверную любимую счастливой и с другим – тем меньше страдаешь.

Теперь же, на стройке, ситуация сгустилась до предела, ибо всем нам, участникам-созидателям пресловутого любовного треугольника, приходилось долгий рабочий день находиться в едином пространстве, жечь свои нервы, томиться и полыхать. Сейчас, спустя жизнь, я понимаю, что тяжче всего приходилось в те дни Лиде. *Нормальному* человеку и вообще легче быть брошенным, чем самому бросать-предавать, да ещё и мы с этим химиком Юрой (к слову сказать, плотным здоровым парнем, лет на десять старше меня) страстно тянули её каждый в свою сторону, а она, бедная, разрывалась, никак не могла отлепиться-оторваться от меня, но и с этим самосвальщиком всё у них уже слишком далеко зашло, сладилось и слюбилось. Она ещё раза два-три допустила меня до своего тела, но уже явно ощущалось-чувствовалось – из жалости, из-за чувства вины, на посошок...

Повторяю, я не любитель разборок-драк, но от тоски и отчаяния я даже попёр в дурь – наскочил на этого бугая в нашей сельской пивнушке. Он осмелился подарить Лиде (моей Лиде!) кулончик серебряный, я этот кулончик с шеи Лиды сорвал накануне вечером в постели, и вот здесь, в пивнушке, где мы были только вдвоём с другом-товарищем Сашкой, а Юрий этот стоял в плотном кругу своих друганов-химиков, я нетвёрдой походкой (разливного вермута и пива с водкой было принято немало) продефилировал в «химический» угол и швырнул цепочку с кулончиком в морду сопернику:

– Друг, не надо *чужим жёнам* подарки дарить!

На моё счастье, соперник мой сдержался, хотя и побагровел, – не размазал меня по стенке. А хотел (как признался потом Лиде, а она рассказала мне), но решил с «пьяным пацаном» не связываться, да и побоялся Лиду этой дракой обидеть-оттолкнуть... Впрочем, я думаю, что всё же основная причина была в другом: химики ещё чувствовали себя в нашем селе чужаками и на открытый конфликт с аборигенами пока не решались.

Известно, надежда умирает последней. А уж у больного любовью – тем более. Я всё ещё за что-то цеплялся, не оставлял Лиду в покое, всё выяснял отношения, просил и умолял вернуться к прежней совместной счастливой жизни. Тем более, что любимая моя на все мои ревнивые грубые вопросы и требования правды отвечала уклончиво, уверяла вяло, будто они с этим Юрием всё ещё «просто товарищи и друзья». Наконец я наскрёб по сусекам души силы воли и решил проявить-повести себя мужиком: объявил Лиде полный бойкот – на работе избегал её, на выходные дорогу к её дому забыл...

Хватило меня на неделю. В субботу, глотнув стакан портвейна для куражу, примчался я на улицу Строителей. Тамара Петровна, уводя взгляд в сторону, огорошила:

– Сестрёнка уехала в гости в соседний район.

– В какие гости? К кому?!

– К родственникам, – проямлила уныло Тамара свет Петровна.
Всё же я ей нравился и врать ей не хотелось.

Еле-еле дождался я понедельника. Перехватил у подножия крана Лиду. Она явно поскучилась, увидев меня, покраснела, потупилась.

– Лида! – выдохнул я.

– Коль, – она умоляюще глянула в самое мою душу, – давай не будем сейчас! Вечером...

Приходи – поговорим...

Я ещё попытался было приблизиться к ней после столовки, где она сидела с сестрой Надей, но только вышел вслед за ними на крыльцо – подкатил ненавистный голубой «ЗИЛ»-самосвал, и Лидуша моя впорхнула в кабину...

Где бы найти того Бунина или Кафку, чтобы описать моё состояние, в каком пребывал я до этого самого вечера!

Дома торопливо сполоснулся, опять хлебнул портвейна, взял-купил бутылку с собой и полетел на это (я уже предчувствовал) *убийственное* свидание со своей любушкой. Лида, упакованная наглухо в брюки и свитер, встретила меня с виноватой ласковостью, соорудила лёгкую закуску, мы с ней сели в *нашей* комнате, выпили, я, прожёвывая солёный огурец, обкатывал-сглаживал в уме первый вопрос, но Лида, вытерев полотенцем руки, взяла с подоконника уже раскрытую общую тетрадь, положила передо мной, ткнула пальцем в строки и жалобно сказала:

– Я больше так не могу... Читай!

– Что это? Ты прозу начала писать?

Забыл упомянуть, что Лида пробовала писать стихи, я к тому времени уже опубликовал в районной газете два рассказа, так что вопрос был вполне к месту.

– Если бы! Нет, я тоже начала вести дневник... Читай!

То, что я прочёл, было чудовищным:

...Мы с Юрой ездили на выходные к его родителям. И матери, и отцу я, кажется, понравилась. С Юрой было всё так замечательно! Мы спали в одной постели, совсем как муж и жена. Он такой сильный, такой неутомимый – от его ласк я буквально схожу с ума...

Я закрыл тетрадь, положил её на тарелку с картошкой, встал, вышел в прихожую, обулся, надел куртку, нахлобучил шапку и вывалился за дверь. Никто меня не останавливал, не упраскивал остаться.

Нажрался я так, что не помнил, как очутился дома. Все последующие события той ночи остались в памяти клочками и туманно. Я сижу на кровати в своей узкой неудобной комнате, весь пол подо мною ал и липок от крови... Жуткий вскрик матери... Женщина в белом халате... Мне туго забинтовывают левое запястье... Я бегу по ночным улицам... Меловое лицо Лиды в проёме двери... Обжигающая боль, когда я срываю бинт с руки и сую-выставляю напоказ окровавленную руку... Лидины рыдания ...

Теперь иногда я смотрю на левое запястье, на пять белых полосок-следов от лезвия бритвы, и сам себе усмехаюсь – и горько, и светло: ну и дураком был я в юности!

Месяца через полтора, аккуратно на Новый год, они сошлись-поженились. В марте Юрий освободился и умчался в Красноярск, где он уже и жил-работал до ареста, – обустриваться, готовить жильё для семьи. Лида ещё дорабатывала на нашей стройке последние дни. Я при встрече молча кивал ей головой и проходил мимо. Она первое время заглядывала мне в глаза, словно пытаясь остановить, поговорить, пообщаться, однако потом тоже внешне успокоилась.

Но однажды она сама подошла ко мне, смущённо улыбнулась:

– Коль, прости, я – с просьбой... Ты не мог бы ещё раз дать мне фотоувеличитель? У меня скопилось три плёнки – хотела фотки напечатать...

- Могу, – хрипло пробормотал я. – Когда?
- Да хоть сегодня, часов в восемь... Хорошо?
- Ладно, – пробурчал я, боясь обмочить штаны от неожиданной радости.

Вечером с коробкой в руке, чинно, совершенно трезвым, явился я в полузабытый дом. Тамара Петровна и ребятишки мне обрадовались (а Сашка особенно – аж взвизгнул и на шею повис), чаем угощать начали. Затем мы закрылись с Лидой в её комнате, создали непроницаемую темноту, затеплили тусклый красный фонарь (символ распутства!) и начали, сидя на стульях плечом к плечу, печатать-проявлять фотографии. Лида была всё в том же выцветшем халатике, родной *женский* запах её не могли заглушить даже терпкие ароматы химреактивов. Справа от нас у стены громоздилась постель, на которую я смотреть не решался, но не потому, что не хотел вспоминать-представлять счастливое *наше* прошлое, а потому что боялся представить-вообразить ненужное *их* настоящее...

Признаюсь, уж такой я тюфяк (по крайней мере – тогда был!), что никаких конкретных планов на этот вечер не строил и поползновений нескромных предпринимать не собирался. Хотя, само собой, весь томился и пылал. Так бы и просидел весь вечер напряжённым скукоженным обалдуюем, как вдруг Лида, со натянутой улыбкой, пробормотав: «Фу, жара какая! Я уж мокрая вся...» – расстегнула и скинула халатик, оставшись в лифчике и трусиках. Я очумел. Она опять уткнулась носом в ванночку с проявителем, сосредоточенно шевелила пинцетом фотобумагу. Когда столбняк чуть отпустил меня, я собрался с духом, решился и положил горячую ладонь на её влажную спину. Молчание. Я подобрался пальцами к застёжке, *вопросительно* потеревил её. Молчание! Тогда, уже окончательно врубившись в ситуацию, я схватился обеими руками, справился с крючочками. Лида, не отрываясь от дела, повела плечами и, высвобождая одну за другой руки, помогла мне освободить себя от бретелек...

Сначала в горячке, нервном напряжении первой близости я подумал было, что всё у нас с Лидой возвращается на круги своя, но затем, когда мы, чуть отдохнув и почти не разговаривая, и второй раз сплели-соединили наши тела – уже без спешки и суеты, оба переполненные тёплой грустной нежностью – я ясно и окончательно понял-осознал: это – прощание навсегда...

Так и случилось.

* * *

Лет шесть назад я получил из Красноярска письмо. Лида, вернее, теперь уже точно Лидия Петровна, сообщала, что побывала в нашем родном селе в гостях, зашла в редакцию районки, где я когда-то публиковал первые рассказы, восхищавшие её, Лиду, а потом, после армии, и работал, порасспросила обо мне и узнала адрес. Она страшно рада моим «писательским успехам», гордится мною, горячо помнит всё, что у нас с нею было почти тридцать лет назад и надеется на ответное письмо и хотя бы одну книгу в подарок с дарственной надписью...

Конечно, я ответил, назадал кучу вопросов, отправил две свои свежие книги. Лида в ответ прислала тысячу спасибо, сообщила, что живёт с тем самым Юрием, вырастила детей, уже готовится стать пенсионеркой, поэтому (вот опять женская логика!) мою просьбу о фото выполнить не может – хочет остаться в моей памяти той, 23-летней...

Я, заглянув в себя, тоже понял-осознал вполне, что хочу помнить её именно такой. И – больше не писал.

Сейчас, попытавшись найти эти два Лидины письма, дабы включить их в текст *мемуара*, я с огорчением убедился-понял, что не сохранил их, но зато обнаружил трогательный листок бумаги из тетради в клетку, покрытый крупными округлыми буквами, составляющими стихотворные строки, и с датой внизу – 30 июля 1972 года. И сразу – высверк в памяти: первый наш поход в выходные в лес на берег реки – я умолил её полностью раздеться-обнажиться. И вот

она, смущённо улыбаясь, лежит на подстилке, *светится* в лучах полуденного солнца, я стою над ней, ненасытно смотрю-любуюсь и не могу насмотреться...

А вечером она вручила мне листок-подарок:

*Ты захотел меня увидеть
Нагую в солнечном свету
И обласкать своей любовью
Простую женскую красу.
Перед тобою, словно Ева,
С улыбкой горечи в губах...
Нагое тело извивалось
В твоих ласкающих руках.
Над нами небо голубело,
И ты, пьянея от вина,
Чуть-чуть смущаясь и робея,
Просил, чтоб стала я твоя.
На ласку лаской отвечая,
Забыв на свете обо всём,
В одно единое сливались,
Растя в объятиях любовь.*

Конечно, как сказал бы какой-нибудь новоявленный Добролюбов – это ниже всякой эстетической критики. Пусть! Но мне лично эти неловкие наивные стихи дороже всех ахматовских и цветаевских шедевров вместе взятых.

Ах, Лида, Лида!...

7. Фая

Итак, только начав своё путешествие в чародейственную страну чувственной любви, я уже в самом начале был дважды подряд предан-брошен женщинами, и в обоих случаях моих бывших возлюбленных поглотил далёкий ещё неизвестный тогда мне Красноярск.

Странные совпадения и тенденции!

Мало того, они на этом не закончились, но приобрели (вот диалектика, блин!) плюсовой оттенок. Дело в том, что среда «химиков», отнявшая-укрававшая у меня Лиду, вдруг взяла и, можно сказать, компенсировала утрату...

То, что случилось вскоре, было настолько неожиданным и ярким, что не могло не отразиться в моём творчестве. И отразилось – в повести «Муттер». Имя героини – подлинное; себя я в этой, в общем-то автобиографической, повести зачем-то именую Сашей.

...Но тут затеплилось в моей судьбе странное любовное приключение, чуть не разгоревшееся в яркий костерок.

Окончив школу, пахал я уже в РСУ плотником-бетонщиком. Строила-достраивала наша бригада двухэтажное общежитие рядом с конторой стройуправления, прямо в степи, километрах в шести от села. Сначала зашелестели слухи, а потом, ближе к новоселью, они и подтвердились: грядёт на Новое Село вторая волна эмиграции. Первая волна нахлынула лет за шесть перед этим. Тогда в Новом Селе (и по всей Сибири) закишели, как тараканы, бойкие, наглые, испитые людишки обоего пола, именуемые тунеядцами. Благородная наша эсэсэсэ-ровская столица, избавляясь от паразитов, посчитала, что самое место им обитать – у нас, в чистой замороженной Сибири. Матушка Сибирь с высоты Московского Кремля гляделась, вероятно, такой человеческой свалкой.

Встречались среди тунеядцев и вполне нормальные люди, работающие и спокойные, попавшие в сей разряд по недоразумению – тогдашние бомжи. Они осели в Новом Селе, прижились, заделались вполне местными, аборигенились. Но таких было мало. В массе же своей тунеядцы оказались пьянью, чумой, а вернее гонореей, воспалившей худшие стороны местной действительности до зловония. Пьянство, разврат, воровство, поножовщина – все эти лиходейские цветочки расцвели пышным цветом с приливом первой мутной волны эмиграции, с появлением же второй ожидалась и ягодка.

А волна на этот раз принесла «химиков». Так именуют в народе преступников, условно осуждённых или условно освобождённых, которых для дальнейшего исправления бросают на так называемые стройки народного хозяйства. И жизнь новосельскую опять залихорадило. Химики в отличие от тунеядцев оказались в массе своей юными, здоровыми и буйно жизнерадостными. Хотя их и держали в куче, опутывали дисциплиной, присматривали за ними два-три «мусора», – но молодость оков и границ не терпит. «Свят, свят, свят!» – крестились новосельские бабуся, глядя с лавок на шастающих по улицам чужих парней и девок, которые казались им шумнее и опаснее местных хулиганистых ребят.

В нашу комплексную бригаду всунули трёх химичек на малярно-штукатурные работы. Я загодя решил с этими оторвами держать себя пренебрежительно. Что может быть общего между мною, свободным гордым человеком, и этими вишивыми эзками?..

Среди них была – Фая. Увидев её, я присвистнул и поскучнел: она принадлежала к тому типу юных женищин, перед которыми я терялся – субтильная, утончённая красавица. Она была рыжая, с веснушками, и эти лёгкие обильные веснушки в соседстве с распахнутыми зелёными глазницами на точёном нежном лице делали внешность Фаи притягательной и неповторимой. Была она тоненькая, гибкая, казалась выше своего роста, плавно-стремительная.

И – весёлая, ласковая, улыбчивая. Да плюс ко всему выделялась среди товарок тем, что не курила и почти вовсе обходилась без терпких мусорных словес.

Короче, какое уж тут пренебрежение! Была Фая всего года на два постарше меня, совсем ещё девчонка, и попала на химию, как я потом узнал, из-за любви. Мужик – взрослый, солидный, семейный – попользовался ею, шепча жаркие слова и одаривая цветами, а потом вдруг оставил, отшивырнул. И получил от ополоумевшей Фаины порцию серной кислоты в лицо. Правда, до лица, до его самодовольной ряхи, огненная жидкость не достала (думаю, таков и расчёт девчонки был), подпортила лишь пиджак с депутатским значком, однако ж Фаю скрутили, судили и сослали с благодатной Украины в краесветную сибирскую Хакасию.

Я, конечно, никогда бы не решился закрутить с такой гёрлой, как Фая. Да и ей на первых порах после сернокислотной истерики не мечталось о новых любовных приключениях. Но натура её жизнерадостная брала верх, но моя томительная одинокая юность подталкивала меня, щекотала, и мы с Фaeй как-то незаметно, слово за слово, улыбка за улыбку, начали сблизаться, сливаться, воспламеняться – гибнуть. Сердце и тело мои супротив доводов рассудка тянулись к красавице Фае. И всё же я, вероятно, так и не отчаялся бы на крайний решительный шаг, если б не пустяковина, не малюсенькая случайная искорка, взорвавшая меня, переполненного эфирными парами чувственности.

Мы вдвоём с бригадиром в тёплый майский вечер остались на часок после работы – разгружали запоздавшую машину с бетонными блоками. Бригадир цеплял стропы в кузове, я принимал груз на земле.

– Глянь-ка, – добродушно хохотнул бригадир, – твоя зазноба для тебя вырядилась. Ишь, вышагивает, красотка...

Я глянул. И – обалдел. От химобщицы к конторе мимо нас шла-выступала Фаина. До этого видя её лишь в бесформенной робе, в косынке, без косметики, я даже не узнал её сперва – в лодочках, капрончике, светло-голубом платице, с яркими губами и распуценной по плечам золотистой волной волос. Но и это ещё не всё. Когда Фая, почему-то делая вид, будто меня не замечает, отвернулась на ходу, вскинула обнажённую белую руку, приветствуя кого-то ладошкой, ветерок вдруг подхватил сильнее нужного подол её платицы – я увидел край капронового чулка и ослепительную полоску девичьего тела... Длинная горячая спица томи-тельно медленно вонзилась в мой постыющийся организм и осталась в нём, где-то в районе пупка, сладко-садняще покалывая. Я закипел, заволновался, взбудоражился и понял: я – пропал.

Вечером, поддав для наглости винца, я прибыл на попутке к двухэтажному общежит-скому замку, где обитала моя принцесса-невольница. Рисковал я здорово: нейтралитет между новосельскими парнями и химиками ещё не устоялся, и я вполне мог получить в общаге по ушам. Но я – пылал. Я – таял. Я – потерял последний умишко. Я боялся более другого: а ну как Фаина моя распрекрасная возьмёт да и пойдёт меня куда подальше, да ещё и с громким хохотом...

Она выскочила на крыльцо, встрёпанная, в халатике, радостно-удивлённо вскрикнула: – Саша? Ах, какой ты молодец! Сашенька! А я ждала... Я сейчас.

Она мигом переоделась. И мы бродили-гуляли вокруг общежития, потом по степи, затем забрели на загромождённую территорию нашего РСУ. Мы, захлебываясь, говорили, бурно сме-ялись, порывом, внезапно обнялись. Поцеловались. Нас как токомшибануло, опьянило. И – что уж скрывать – в эту же шальную пьяную ночь, найдя незапертый вагончик с широ-ким дощатым столом, на котором днём работаги забивали доминошного козла, мы с Фaeй познали друг друга – согрели сладко, неистово, безрассудно, сумасшедшие...

Уже через день, в воскресенье, я привёз Фаю к нам домой, в гости. Я стеснялся: это вообще был первый случай, чтобы я приводил официально нах хаус существо женского пола, к тому ж Анна Николаевна вполне могла отождествить Фаину с прежними моими тайно-

ночными визитёрками. Это – с одной стороны. С другой – стыдно было перед Фаей за убогость нашей обстановки. Я всю жизнь из-за этого терпеть не мог гостей.

– Вот, муттер, знакомься, – развязно проговорил я, – это Фая. Как видишь – красавица. Вместе в одной бригаде нашем. А это, Фая, – наш дворец и его хозяйка, майне муттер.

Я, конечно, избегнул слова «химия», забыв совершенно, что уже ранее рассказывал матери о странном пополнении в бригаде. Но вот чудо-то! Буквально с первой секунды Фаина и Анна Николаевна качнулись навстречу друг другу, распахнули души. И уже через пяток минут мы втроём сидели дружно за столом (сестра с Иринкой прогуливались) и вкусно общались, чокаясь и скромно закусывая – бутылочку винца мы принесли с собой. Фая, разогревшись от гостеприимства и внимания, с жаром рассказывала муттер за свою жизнь, а муттер с не меньшим пылом её слушала. Анна Николаевна сердцем сразу почуяла в красивой и раскованной девчонке её простодушие, доверчивость, ласковость и, вероятно, уже выглядывала, как и положено матери, в подружке сына будущую свою невестку.

И тут случилось непредвиденное: Фая с каждым глоточком портвейна возгоралась всё более, возбуждалась и вдруг поплыла – жесты её надломились, глаза затуманились, язык начал путаться в зубах. Я внутренне скорчился: мне и жалко стало Файку и так стыдобушно перед матерью – подумает ещё, что пьянчужку какую домой приволок. Но Анна Николаевна, продолжая меня удивлять, помогла мне доставить отяжелевшую девчонку в мою комнату, уложить в постель. Потом сбегала намочила полотенце, приложила к голове госты, поставила к кровати таз.

Когда Фая, намучившись, задремала, мы сошлись с муттер на кухне.

– Ты ей пить не давай, – заботливо посоветовала мать. – Видишь – нельзя ей. И сам поменьше бы употреблял, а?

И вдруг перешла на взволнованный радостный шепот:

– А как человек она – хороший. Молодец!

– Она – молодец?

– Ты молодец! Такую и надо для жизни – добрую, душевную. Если ты для баловства – лучше уж оставь сразу.

Куда там оставь! Я втюрился в Фаю по самые кончики оттопыренных своих ушей. В нас с нею уже пульсировал общий кровоток.

– Так она же эчка, срок тянет, – подначил я.

– Ну что ж, судьба у неё такая, – вздохнула Анна Николаевна и привычно философски резюмировала: – От сумы да от тюрьмы не зарекайся...

Фая ночевала у нас.

Наутро она краснела, каялась и оправдывалась. Анна Николаевна поила её крепким чаем с гренками и успокаивала. Я млел и мурлыкал. А потом мы рысью мчались на остановку рабочего автобуса, сочиняя на ходу байки для коменданта. Ничего путного нам в головы не вскочило, и Фаине моей ненаглядной вкатили строгое предупреждение за слом режима.

Потом Фая ещё и ещё раз ночевала у нас, проводила с муттер вечера в беседах-разговорах, а ночью уносила меня на крыльях страсти в выси чувственной любви – не знаю, как я не задушил её в объятиях.

Комендантские угрозы и предупреждения множились. А однажды моя красавица Фаина и вовсе осталась у нас жить. Анне Николаевне мы соврали, будто Фае предоставили свободный режим и разрешили жить на квартире. Вслух в доме не говорилось, но как бы само собой подразумевалось, что рано или поздно мы поженимся.

Через недельку нас вместе с Фаей прямо с работы дёрнули к коменданту – раздражительному тучному майору с седым ёжиком на голове. Он гневно взъерошил щетинистый ёжик и через мать-перемать прорычал нам свой вердикт: мол, сношаться нам он запретить не может и не запрещает, а вот ночевать условно осуждённой Фаине Алексеевой вне стен обще-

жития он категорически запрещает и в случае неповиновения отправит её, условно осуждённую Фаину Алексееву, на возврат, то есть, попросту говоря, – за колючку, в зону...

Угроза пугала. Мало того, что Фаю могли упечь в колонию, но ещё и весь срок её, все три года, возобновились бы сызнова, с первого дня. Я хотел было загнать багровому майору-кабану пару непечатных и ласковых, но Фая-Фаечка-Фаина впилась в ладонь мою своими ноготочками...

Пришла разлука.

Фаину перевели в другую бригаду, на другой участок. Меня майор приказал не пускать в общагу. Мы стали видеться с Фаем урывками, мимолётно. Я, не зная, как себя умирить, унырнул опять с головою в портвейн. Но зелено вино лишь ещё шибче взбаламучивало и без того кипящую кровь.

Мы вытерпели две недели. Раз Фая, на обеде в рабочей столовой, на бегу, сунула мне записку в руку. Я бросил недоеденную котлету, выскочил на ветер. Листок в клеточку перечёркивали лихорадочные строчки почти без знаков препинания, как в телеграмме, лишь восклицательные знаки топорщились колючками:

«Саша здравствуй!

Сашенька милый люблю и не могу без тебя! У меня в душе страшная без тебя пустота! Ну почему я такая несчастная! Полюбила первый раз по-настоящему а судьба нас разлучает! Я всё равно не выдержу и приеду к тебе в воскресенье! Жди! Я приеду! Иначе – хоть в петлю головой!

Сашенька соскучилась ужасно!

Целую! Целую! Целую!

Фая»

И уже после имени, после подписи – совсем неожиданное и детское: «Мой большой-большой привет Анне Николаевне Любе и Иринке!»

Была пятница. День получки. В душе наступил просвет (воскресенье!), но пасмурность ещё преобладала. Когда бригадир предложил: «Ну что, Сашок, с нами или отколешься?», – я сунул до кучи свою пятёрку.

В пивнушке, которую сами мужики не без юмора именовали – «Бабы слёзы», колыхалась, гомонила толпа. Тетя Люся, бессменная буфетчица, в грязном маскхалате, с багровой от выпитого физией, полоскала захватанные банки в ведре с мутной водой и крыла хриплым матом дебоширов. Один из посетителей уже храпел на заплёванном полу, другой клиент ещё только пристраивался подремать в уголке. Хлипкий мужичонка в разодранной телогрейке всё пытался сплясать цыганочку, но не хватало места, и он умоляюще пристанывал:

– Ну, ироды, дайте же сбaceaю!

Переборщивший алкаш у входа тыкался мордой в липкий стол и страшно, натужно икал. Всё плотнее сгущался слоистый туман из табачного дыма, паров пива, бормотухи и водяры.

Мы своей бригадой шестером заняли столик у окна. Мигом он оказался сервирован: распечатые бутылки водки, на куски растерзанная мокрая колбаса с рыбным запахом, раскромсанная буханка хлеба, вспоротая банка килек в томате и жидкое пиво без пены в пол-литровых банках. Тёплая водка, к которой я ещё не приучился, в смеси с пивом жидким свинцом оседала в желудке и в мозгах. Обстановка давила. Я тупел и мрачнел всё больше. Хотелось жалиться и плакаться в жилетку, но – где найти человека в жилетке?..

Домой я приплёлся в развинченном состоянии. Натикало уже без малого девять, надвигалась ноябрьская глухая ночь. Я сел в кухне на табурет и стиснул ладонями трещащую по всем швам бабку. Мутило. В мозгах пульсировало: «Воскресенье – послезавтра – воскре-

ные – послезавтра...» Я выудил из стола бутылку благородной «Варны», припасённую к 7-му ноября, распечатал, хлобыстнул стакан – вроде уравновесился.

Вошла муттер, поставила на плиту чайник, воспитательно-едко хмыкнула:

– Правильно. Наклюкаться и – никаких проблем.

– Тебе привет от Фаи, – уныло сказал я. Ссориться не хотелось.

– Спасибо! Видел её? – живо откликнулась мать и неосторожно, не подумав, добавила: – Что же ты на ней не женишься? Девушка она добрая, даром что красивая... Женись да и всё. Сколько ж будешь перебирать невест?..

Муттер ещё что-то говорила и говорила, а я про себя ахнул: как же это мне в голову не приходило? Жениться на Файке немедленно! Быть всегда – и днём и ночью – вместе, плевать на всяких там майоров и дурацкие режимы!..

Мать пыталась меня остановить, но я, хватив ещё стакан «Варны», галопом помчался в ночную степь. Попутки не случилось, и я все километры отмахал, переходя с бега на шаг и с шага на бег.

Знакомый химик вызвал Фаю. Мы чуть не задохнулись от поцелуев. Фая плакала и смеялась. Я лепетал ей что-то про счастливую семейную жизнь...

Вскоре мы вышагивали по пустынному тракту к Новому Селу. Моросило и подмораживало. Я укутал Фаину в свою куртку, крепко прижимал к себе, но она всё равно дрожала. Смеялась и дрожала. Редкие машины, не задерживаясь, обгоняли нас, уносились равнодушно прочь.

– Ничего, ничего, – припевал я, обнимая пожарче свою юную жену-невесту, – теперь будет всё о'кей и гутен морген...

Догнавшая нас очередная машина тормознула сама. Воспрянув, я подскочил к «уазику», распахнул дверцу, близоручко прищурился.

– В село подбросите?

И – охнул. Рядом с сержантом-водителем раскорячился на переднем сиденье мордатый майор...

(«Муттер»)

Бедную Фаю угнали не только обратно в лагерь, но и – аж на Дальний Восток, на Амур. А я через месяц загремел таки в армию, да ещё и – в стройбат, в забайкальские степи.

У меня остались-отсеялись в памяти только хорошие, *вкусные*, светло-грустные страницы этого диковинного романа. Однако ж, память – странная штукавина! Зато бумага беспристрастно сохраняет всё. Из четырёх написанных мне Фаей писем сохранилось три. Одно я уже привёл-процитировал в повести, а вот и другие два, из которых вполне понятно, что назревала в наших отношениях драма (запятые, которые Фаина моя не признавала, я всё же расставил).

«Коля, здравствуй!

Прошу, не смейся над неправильными словами.

Можно один вопрос? Почему ты был сегодня грустный? Посмотрел на меня таким отсутствующим взглядом и... бежать. У меня настроение – не дай Боже никому такого. Снова температура. Как она мне надоела за все эти дни!

Коля, я не знаю, как тебе всё написать. Теперь я точно узнала, что у меня будет ребёнок. Я не знаю, что делать!!! Просто хоть в омут головой. Да и что меня бесит – твоё отношение ко мне. Пожалуйста, не будь жестоким, объясни мне всё. Не раз говорила – люблю!..

Хотела в воскресенье приехать, но есть одно немаловажное «но»... Буду ждать твоего ответа.

Прошу, напиши всё откровенно: о чём думаешь и как думаешь обо мне.

*Николушка, соскучилась ужасно!!!
Жду!
Целую!
Фая».*

*«Коля, здравствуй!
Ты снова ушёл, и я сразу же сегодня пишу.*

Колька, милый, люблю и не могу без тебя! Помоги мне! Сейчас у меня в душе какая-то пустота. В голове ничего не осталось. Ты меня сегодня удивил: “Всё делается бесплатно...” Но того, что ты хочешь, – не будет! Пусть мы с тобой и расстанемся – всё-таки будет память о тебе.

Николушка, люблю! Ну почему я такая несчастная?! Одного полюбила, а он – от меня. Коля, не могу, не хочу тебя от себя отпускать!

*Я всё равно завтра приеду. Если тебя не застану дома – буду ждать. Договорились??!!
Жди, я приеду.
Целую!!!
Фая».*

Уже в разгар весны, в армейской казарме я получил ещё одно – четвёртое – письмо от Фаи. Она сообщала, что у неё родился сын...

Я не ответил. Я был в тот период стройбатовским салабоном – грязным, голодным, сонливым, затюканным, униженным, вялым, апатичным и почти больным. Мне было не до романов, не до любви, не до своих и чужих детей...

Может, и зря!

8. Люба I

Но первый – каторжный – год службы-срока всё ж таки истёк-кончился.

Став «черпаком», а затем и «стариком», я всё заинтересованнее начал опять поглядывать на женский пол, тем паче, что в военном городке его, этого приманчивого пола, вполне хватало, да и работать-пахать нам, стройбатовцам, зачастую приходилось с гражданскими бок о бок, плечом к плечу, *грудь в грудь*. А мне к тому же удалось на втором году службы пристроиться вообще на офигенное место – дежурным сантехником в городское жилищно-эксплуатационное управление (ЖЭУ). Работа-дежурство в три смены по скользящему графику, свободное одиночное хождение по городу (для солдата – роскошь невероятная!), вызовы-визиты в квартиры порой совершенно одиноких гражданок...

Одним словом, создались все условия для нескучной жизни. Но признаюсь, никогда меня *трах-тибидох* сам по себе – для количества, ради здоровья, от скуки – не манил. Мне обязательно хотелось чувства, огня, отношений, романа – с завязкой, развитием сюжета, кульминацией и с надеждой, что развязки-разрыва, может быть, не будет...

Люба (поначалу, конечно, Любовь, что ли, Владимировна) работала мастером ЖЭУ – нашей, дежурных сантехников, непосредственной начальницей. Было ей лет двадцать пять, она имела мужа-экспедитора и сына четырёх лет. На внешность Люба была ну очень миловидная: улыбчивая ласковая шатенка с карими восточными глазами, ямочками на щеках и чуть крупноватая телом. При взгляде на неё невольно вспоминалось описание сестёр Епанчиных в «Идиоте» Достоевского: «Все три девицы Епанчины были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощною грудью, с сильными, почти как у мужчин, руками...»

Как раз вот это да ещё четыре года разницы в возрасте, может быть, и стали самым сильным манком для меня. Женщина, матрона! Я всегда робел таких и никогда бы не решился, что называется, первым и по своей инициативе приблизиться-прислониться к Любе. Но так получилось, что мы с ней на работе начали общаться-болтать в свободное время, шутить и смеяться, и я в один из обеденных перерывов, когда мы с Любой остались в помещении одни, ради хохмы же, подсунил ей листок с виршами, кои сочинил за полчаса до того, обмывая чресла свои в подвальном душе.

*Я ношу солдатские погоны,
Подчиняюсь я бесчисленным приказам.
Все, кто старше в звании – бароны:
Чуть ослушаюсь, я сразу же наказан.
Но заметил вдруг, что стало легче
Мне терпеть лишения этой жизни,
И придирки вроде стали мельче,
А друзья мне стали вроде лишний.
Изменилась жизнь, как в детской сказке —
Стал вдруг мир и радостен, и светел...
Догадалась ты, наверно, без подсказки?
Радостным мир стал, когда тебя я встретил.*

До этого я лишь однажды пробовал рифмовать, послал получившийся стихотворный опус в районную газету, где уже опубликовали мой первый рассказ, и получил суровый отлуп

от заводелом писем: стихи – это не твоё, Николай, пиши лучше прозу. Повторяю, я зачем-то решился встать вновь на тернистый путь стихотворца только по одной причине: это же не серьёзно, для хохмы, для поддержания общения с милой симпатичной молодой женщиной...

Люба не отрывалась от моего листка минуту, вторую. У меня уже и ёрническая улыбка на лице истоньшилась-стёрлась. Люба наконец подняла странно блестевший взгляд, проникновенно-грудным голосом выдохнула:

– Спасибо!

А дальше всё пошло-покатилось по совсем неожиданному и головокружительному сценарию. Я вдруг оказался рядом с Любой, она, продолжая сидеть, запрокинула-подставила мне лицо, я наклонился, приник к её губам...

И как специально, муж её в эти дни находился-обитал за тридевять земель в командировке, сын гостил у бабушки. В следующий вечер я уже был в гостях у Любы – с бутылкой шампанского, коробкой конфет и дрожью во всём теле. Как всегда при такой скоропалительности, были излишние и страшно досадные напряжение, неловкость, стыдливость. Но и – горделивая радость, не могущая не быть при каждом первом обладании новой женщиной...

В следующую свою смену я, конечно же, принёс новые «стихы»:

*И вот мы остались одни.
Лишь мы и – огромная ночь.
Что же нас так роднит?
Любовь не могу превозмочь.
Ты белое платье сними,
Ведь мы теперь – муж и жена!
Скорее меня обними...
Всё кружится, как от вина...
Навек теперь счастье нам,
Навек мы теперь одни!
Безбрежной любви храм —
Вот что с тобой нас роднит!..*

Не слабо, а? Особенно про «мы теперь – муж и жена»...

Вирши я начал строчить-сочинять каждый день да по несколько штук. Некоторые, впрочем, получались даже и не совсем хилыми. Я их впоследствии презентовал некоторым героям-стихоплётцам в своих романах и повестях.

А наш роман с Любой стремительно развивался и прогрессировал. Сохранились милые фотографии, где мы сняты у подъезда нашего ЖЭУ втроём: Люба, её сынишка и я, судя по физиономии – вполне влюблённый солдафончик в пилотке. Причём, пацанчик сидит у меня на коленях, обняв за шею. Люба, не выдерживая даже двух дней без встреч, писала мне в казарму чрезвычайно нежные и страстные письма:

«Здравствуй, хороший мой Человек!

Коленька, как мне плохо без тебя! Сегодня в 10 часов я приду и сяду на нашу скамеечку. Если ты будешь там – значит, я самый счастливый человек на свете. А если нет? Отправлю письмо и буду ждать встречи с тобой, чтобы взглянуть в твои глаза и набраться сил. Ты же знаешь, как много сил душевных мне сейчас нужно. Если бы ты знал, как я благодарна судьбе за встречу с тобой. Теперь мне хочется жить, теперь я верю, что счастье и любовь всё же существуют на свете.

Я люблю тебя, Коленька! Наверное, всё-таки получилось так, что я сказала, вернее, написала эти слова первой. Читала я где-то, что горе можно скрыть от людских глаз, а счастье невозможно. И пусть знают все! Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

А ты молчишь, ты ничего не говоришь. Только стихи. Не обижайся, пожалуйста, но там же неопределённость. А вообще стихи твои мне помогают очень, они наполняют меня этими самыми душевными силами.

Ну вот, всё главное я тебе сказала. Набор слов и мыслей моё письмо, да? Люба».

Естественно и само собой, у нас начались разговоры-обсуждения о дальнейшей совместной жизни – Люба к тому времени окончательно разочаровалась в муже. Сохранились мои соответствующие и упаднические, да ещё и с атеистическим привкусом стишки:

*Наверное, нам счастья видеть не дано.
Тому причины есть, ты знаешь их:
Ты замужем уже давным-давно,
А кто теперь рассудит нас троих?
Что Бога нет – все знают, знаешь ты,
А на людей тем более надежды нет,
И чтоб не умерли бесследно все мечты,
Лишь только мы вдвоём должны найти ответ.
Но это громко сказано – «вдвоём»,
Ведь всё зависит от тебя одной:
Как дальше – врозь иль вместе мы пойдём
И суждено ль увидеть счастье нам с тобой.*

Но, судя по всему, я поторопился весь груз ответственности за наше общее счастье возложить на Любины плечи. Она как раз уже готова была сделать решительный шаг и писала мне в очередном горячем письме:

«Коленька, хороший мой, здравствуй!

И кто придумал эти выходные – целых два дня? Ужасная эта пытка – не видеть тебя. Постоянно думаю о тебе, разговариваю с тобой в мыслях и, наверное, скоро буду по ночам кричать твоё имя. Теперь ты полностью во мне – и ночью, и днём. И когда я смеюсь, и когда плачу.

Написала несколько строчек и опять сижу думаю-думаю. Что-то дальше у нас с тобой будет? А я ведь почти стала забывать, что есть на свете любовь – самое прекрасное, чем может быть награждён человек. А вот и меня наградили любовью. Я люблю и очень счастлива. А ты можешь в этом сомневаться? Хотя я понимаю тебя: всё то, что происходит в моей семье – наводит на такие мысли. Только ты пойми, если бы не ты, я не стала бы разводиться с мужем. И ещё пойми, только правильно: я развожусь с ним не из-за тебя, а БЛАГОДАРЯ тебе.

Знаешь, а он всё понял. Сегодня он сказал: “А ты всё-таки полюбила...” И это был уже не вопрос, а утверждение.

Милый, хороший мой, всё-таки счастлива я. А принесу ли я тебе счастье?

Ну вот и всё.

Люблю! Целую! Я».

Кто знает, может быть, и вправду мы бы с Любой сошлись-слюбились, попробовали после моего дембеля совместной семейной жизни, если бы не появилась вдруг и неожиданно в судьбе моей Маша...

Наша последняя встреча с Любой была ужасной. Я за несколько дней до отъезда домой, замаскировавшись в гражданские шмотки лейтенанта-замполита нашей роты (мы с ним приятельствовали), пьяный в дупель, зачем-то припёрся в подвал ЖЭУ, поманил Любу в укромный уголок и что-то долго гундосил-бормотал ей про свою вину и просил прощения. Сквозь хмельную муть и головную боль впечатались в память бледное лицо Любы, её потемневшие от боли, обиды и неизбывной тоски глаза...

Господи, ну разве я виноват?!

9. Маша

Маша – это солнечный удар, это обморок, это томительно-сладкий сон.

Воспоминания о ней настолько яркие, что не могли не вылиться на бумагу. Правда, на заре своей писательской юности, потев над первой своей объёмной вещью – автобиографической повестью об армейской службе «Казарма» – я почему-то о Маше упомянул вскользь, не решился откровенничать и выставлять напоказ нашу жаркую любовь, но имя сохранил подлинное. (Ну никак она у меня с другим именем не сопрягается!) В повести герой, комсорг роты, в финале решается на своеобразный для того времени и той обстановки подвиг – прочесть на комсомольском собрании честный отчётный доклад об армейской жизни в казарме (слова «дедовщина» тогда ещё не было, но сама дедовщина о-го-го какая была!). И вот он просыпается в утро «стрелецкой казни»:

...Но сознание всплывает постепенно из глубин моего я, и сон, растворяясь, распадаясь на отдельные молекулы-картинки, впитывается в мозговые клетки памяти. Я тянусь-потягиваюсь с таким энтузиазмом, что откликаются хрустом все суставы и суставчики моего дембельского тела, скрипят железные растяжки жёсткой солдатской кровати.

Отворяю глаза.

Позднее октябрьское солнце последним всплеском жарости продолжает сквозь стёкла греть моё лицо. Я тру веки костяшками указательных пальцев, сажусь на постели, окончательно материализуюсь в сегодняшнем дне и вспоминаю – Маша! Вчера она сказала мне, задыхаясь от поцелуев: «Неужели ты не понимаешь? Я не хочу, чтобы ты уезжал!»

Маша!..

И уже в самых последних строках повести тень Маши появляется-возникает вновь:

...Господи, если ты есть, укрепи меня!..

Маша! Мария! Любимая моя чужая жена! Моя единственная и ненаглядная женщина, сказавшая мне вчера: «Неужели ты не понимаешь? Я не хочу, чтобы ты уезжал!..» Моя судьба, которую я встретил наконец и теперь уже не отдам никому, милая моя Маша, помоги!..

(«Казарма»)

Понятно, что эти глухие намёки-возгласы рассчитаны были на читателя с воображением, способного домыслить-догадаться, какой бурный и красивый роман протекал у героя за рамками повествования.

А не так давно, работая над романом «Меня любит Джулия Робертс», я вдруг с такой непреодолимой силой захотел повспоминать-рассказать о моей Маше, о нашей с ней «лавстори», что придумал ход, будто отец главного героя написал когда-то армейскую повесть, и вот сын якобы нашёл её в старом чемодане и внимательно читает-изучает. В результате появился в романе вставной отрывок-рассказ под названием «Неуставные отношения». Там в начале речь идёт, естественно, и о Любе, и тон в этих абзацах, надо признаться, увы, несколько уничижительный... Ну надо же было мне, подлецу, как-то оправдать себя за измену, за своё бегство из ставшего вдруг купным и пресным мира Любы в необъятную дивную вселенную Маши.

В новелле этой мой альтер эго выступает-значится под псевдонимом Александр Николаев, а Маша и другие героини под своими подлинными именами и даже вроде бы фамилиями (сам точно не помню – придумал их или нет):

НЕУСТАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Случилось это внезапно.

До этого, уж разумеется, наслушался я в казарме бессчётное количество историй о том, как прыткие удалые солдатики прыгают в супружеские постели своих командиров. Весёлые истории, но – фантастические.

К примеру, в нашей 5-й роте командиром был капитан Хоменко – сам человек страшный (и характером, и рожей), деспот, и супружницу имел соответствующую: уже старую, страшнохолодную, солдафонского типа – ну прямо капрал в юбке! У замполита роты лейтенанта Демьянова жена была помоложе и помиловиднее, но уж очень необъятных размеров, бочка бочкой, и работала у него на глазах, под приглядом, заведовала полковой почтой, так что если кому из сапёров или сержантов и строила глазки, то, скорей всего, чисто платонически. Замполтех лейтенант Кошкин и старишина роты прапорщик Селезнёв были ещё сами холостыми, а взводами в строительных войсках командуют и вовсе, как известно, сержанты.

Вот и поди разыщи при таких постылых обстоятельствах командирско-офицерскую жену для блуда!..

Я уже дослуживал своё, числился в стариках, грезил о скором – месяца через три – дембеле и мечтал, конечно, о любви, но уж о любви, так сказать, настоящей – на воле, на гражданскойке. Почти за два года службы у меня было три любовных связи по переписке, с заочницами, да как раз в эти последние жаркие дни уходящего лета происходило непонятно что с Любой, мастером городского жилищно-эксплуатационного управления (ЖЭУ), где я работал-служил дежурным сантехником-аварийщиком. Люба была замужем, имела 4-летнего сынишку, была вполне симпатична, но не более, и как-то так произошло-случилось, что мы с ней сначала принялись горячо болтать-общаться на работе, а потом однажды, когда никого в комнате мастеров больше не было, во время обеденного перерыва, мы в пылу жаркой беседы так сблизились лицами, что вдруг взяли и поцеловались. Ну и – началось...

Муж Любы часто уезжал в командировки (ну никак без анекдота не обойтись, вся жизнь – сплошной анекдот!), сына ей удавалось сплавить к свекрови под предлогом, что допоздна задержится на работе, и мы без помех могли, как принято выражаться ныне, заниматься любовью. (Вообще дико несуразное выражение: как можно заниматься чувством?!)

Вот именно – заниматься! Не было, по крайней мере у меня, ни особого жара-пыла, ни головокружения, ни восторга до обморока. Закрывались в квартире, наспех выпивали по стакану вина для снятия напряжения, торопливо раздевались, повернувшись друг к другу спинами, залезали под одеяло и... трахались.

Да, другого слова не подберёшь!

Впрочем, Люба, судя по всему, воспринимала это более чем серьёзно, даже речи заводила о своём разводе, о том, что поедет за мной после дембеля хоть на край света... Так что я мучительно придумывал, как бы завязать со всем этим. Во-первых, перспектива ухода Любы с её сопливым пупсом от их экспедитора мне вовсе не улыбалась, а, во-вторых, если во время оргазма не теряешь сознания – для чего же тогда трахаться? Но – проклятый характер! – я всё тянул, всё оттягивал окончательное объяснение с Любой. Был бы я вольный – взял бы даже, да и ушёл-уволился из ЖЭУ и постарался с ней в городе не встречаться, а тут...

В своей части я был помимо комсорга роты ещё и редактором полковой радиогазеты. Два раза в неделю я собирал-клепал очередной выпуск – всякие отчёты с полковых и ротных собраний, зарисовки-очерки о доблестных военных строителях и прочее в том же духе, оформлял всё это на бумаге и, перед тем как зачитать тексты в микрофон, визировал их у замполита части подполковника Кротких. Так сказать, – цензура на высшем уровне. Подполковник

был – человек. Я при входе, конечно, каждый раз паясничал по уставу – честь отдавал, приступал к докладу торжественному: мол, редактор полковой радиогазеты сержант Николаев прибыл для!.. На этом месте Александр Фёдорович меня обыкновенно прерывал шутивым ворчанием:

– Ладно, ладно... Давай, Саша, ближе к делу!

В этот августовский солнечный полдень я стукался в кабинет к замполиту вообще с особым настроением. Дело в том, что за неделю до того в каптёрке нашей роты появилось десять комплектов невиданной доселе повседневной формы – настоящие галифе и гимнастёрки образца 1949, что ли, года. Где-то на складах пролежала эта обмундировка более двух десятков лет, надёжно укрытая, не выцветшая, сочного табачного цвета, и вот теперь её какой-то интендант обнаружил и решил использовать по назначению. Военская казарма по части веяний моды и ажиотажа вследствие этого любому пансиону благородных девиц фору дать может. А так как при уставном единообразии формы фантазия модников весьма ограничена в средствах, то усилия их направлены в основном на покрой и фурнитуру. К примеру, кто-то первым в казарме придумал вместо брезентового ремня поддерживать штаны подтяжками – вскоре все подтяжки не только в гарнизонном магазинчике, но и в городском универмаге исчезли-кончились. С этими подтяжками боролись отцы-командиры, старишины, патрульные гансы, но самые блатные модники армейские упорно щеголяли в подтяжках и на смену отобранным непременно доставали новые. Были модные штучки и менее разорительные (например, жёсткие – из фибры, картона, а то и жести – вставки в погоны), были сверхобременительные, под силу только самым блатным и хватким (к примеру, форма «пэша», из полушерстяной ткани, которая выдавалась только прапорищикам и старишнам, но оказывалась порой на плечах иных сержантов и даже рядовых «дедов»). Так вот, а тут появилась такая отличная возможность – вполне легально щегольнуть необычной формой, стать ротным законодателем моды. Естественно, десять комплектов гимнастёрок в результате жесточайшего спора, дошедшего даже до лёгкой драки, поделили между собой наши ротные дембеля – и то всем не хватило. И делили они всего восемь комплектов, ибо один по праву сразу забрал себе каптёрщик (ротный кладовщик) Яша, он хотя и был всего только «черпаком», но уж такая у него блатная должность; а ещё один, уж разумеется, достался мне – как бы это комсорг роты да ходил вдруг чухнарём!

Когда я стукался в кабинет подполковника Кротких, новенькая необычная форма (со стоячим воротником, накладными кармашками на груди – шик!) была уже на мне. Целую неделю по вечерам я самолично (не может же секретарь комитета комсомола благовать и молодых эксплуатировать!) ушивал-подгонял её по фигуре, оснащал-украшал твёрдыми погонами, новыми пуговичками, белоснежным подворотничком с продёрнутой поверху жилкой-кантиком (что напрочь запрещалось уставом, но разве ж может «старик» ходить без кантика?!), зауживал галифе до крайней степени, так что натянутые подтяжками они, эти бывшие галифе, становились похожи на трико танцовщика балета, до неприличия подчёркивая все мои мужские достоинства – но чего не сделаешь ради писка казарменно-армейской моды!..

Я, естественно, даже несмотря на новенькую форму, намеревался подпустить в ритуал козыряния и уставного доклада, как обычно, толику иронии. Я уже и голос-тон соответствующий настроил, приоткрывая дверь замполитовского кабинета, как вдруг словно споткнулся внутренне: прямо напротив дверей сидела на стуле она... Понимаю, все эти курсивы, многоточия и прочие графические ухищрения ничего не объясняют, никакой конкретной информации не несут. Ну, а как эту самую информацию передать? Как объяснить просто и толково, что я в тот же момент, в ту же секунду словно как толчок в сердце ощутил, словно как понял-осознал мгновенно на подсознательном, на сверхглубинном уровне каком-то – это она... Это – она... Это – ОНА... Не знаю, как ещё можно подчеркнуть-выделить! Я раньше о подоб-

ном только читал да знал понаслышке, а теперь вот сам испытал: действительно, оказывается, можно ощутить странный толчок в сердце и начать глубже дышать при самом первом взгляде на эсеницу, и тут же почувствовать, что между вами вдруг возникла-протянулась мгновенно какая-то паутина-связь...

Сначала – общее впечатление: у неё были распуценные по плечам светлые волосы, слегка волнистые, у неё были большие тёмные глаза, посмотревшие на меня сначала строго и высокомерно, но тут же вдруг смягчившиеся (гимнастёрочка!), тонкое лицо её с чуть резковато очерченными скулами было аристократическим в том смысле, в каком понимаю это определение я, начитавшись Стендаля и Тургенева, стройная, даже, можно сказать, сухощавая фигура под светло-палевым открытым платьем, необыкновенно длинные ноги в прозрачном капроне... Да что там объяснять: она была вся какая-то необыкновенная, из другого мира! Причём, напомним-подчеркну: несмотря на свой армейско-солдатский статус, я общался с женским полом каждый день, так что взгляд мой ни в коем случае нельзя было посчитать голодным.

Разумеется, я отпрянул, бормотнув нечто вроде: «Вы заняты?», – но подполковник Кротких удержал меня:

– Заходи, заходи! Как раз кстати. Вот, Мария Семёновна, один из лучших наших ротных секретарей – сержант Николаев, из пятой роты. Я вам о нём говорил...

Эта незнакомая ещё мне Мария Семёновна окинула меня оценивающим взглядом, лицо её уже совсем смягчила улыбка. Я чуть руками не всплеснул от восхищения – какая ж у неё была улыбка! Руками я не всплеснул, я от расправившего меня восторга тут же и глупость выкинул, опарафинился. Я как последний олигофрен шизодебильный выпятил свою цыплячью грудь в новой гимнастёрке, молодцевато, как мне мнилось, бросил оттопыренные острия пальцев к пилотке, прищёлкнул сточенными по армейской моде каблучками сапог и начал, багровея от натуги, рвать:

– Товарищ! Подполковник!! Сержант!!! Николаев!!!! Прибыл!!!!..

– Стоп! Стоп! Саша, с ума сошёл? – даже привскочил Александр Фёдорович. – Да ты Марию Семёновну пугаешь!

Красавица рассмеялась.

– Проходи, садись, – продолжил замполит, – и познакомься с нашей новой заведующей сектором учёта комитета ВЛКСМ части Марией Семёновной Ключевой. Надеюсь, вы с ней найдёте общий язык, подружитесь...

Знал бы добрейший Александр Фёдорович, ЧТО он тогда сказал!..

* * *

Уже вскоре я в казарме только ночевал.

Я и раньше-то, когда находился в расположении части, то в своей роте времени мало проводил, всё больше в библиотеке или в штабной радиокомнате торчал, а теперь и вовсе дорогу домой, в наш крайний подъезд забыл. Полк наш размещался в панельном доме, внешне похожем на обыкновенную городскую пятиэтажку. Вот я окончательно как бы и переселился в первый подъезд, где размещался штаб, только теперь прописался на пятом этаже, в комитете ВЛКСМ части. Старший лейтенант Чернов, командир комсомолки полка, показывался здесь редко, да у него и отдельный кабинет был. А мы с Машей обитали в её комнате-закутке, загромождённой шкапами с учётными карточками воинов-комсомольцев.

Машей она для меня, естественно, не сразу стала. Я, поначалу сам себя обманывая и пытаясь обмануть её, взялся таскаться через день да каждый день в сектор учёта к Марии Семёновне, якобы, по неотложнейшим делам. О-го-го, каким я вмиг стал самым аккуратным, деловым и старательным ротным комсомольским возжаком не только в нашем полку,

но в гарнизоне, а то и – во всей Советской Армии, включая Воздушные Силы и Военно-Морской Флот. Сто с лишним учётных карточек комсомольцев-воинов нашей роты я без усталости заполнял, дополнял, поправлял, вылизывал, чистил, просматривал, проветривал, проглаживал, пересчитывал, сверял, перекладывал, выравнивал... А кроме этого разве ж мало могло быть и других дел-забот у настоящего секретаря комитета комсомола роты в секторе учёта комитета ВЛКСМ части?..

Понятно, что если человек не совсем туп и нагл, его обязательно будет угнетать собственная назойливость по отношению к другому человеку и придавливать мысль-тревога, что тот человек терпит тебя только в силу аристократического воспитания и безмерной доброты характера. Меня и угнетала моя назойливость, меня и придавливали подобные мысли, но я ничего поделать с собою не мог. Гениальное пушкинское: «Но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днём увижусь я...», – это про меня. Утром на подъёме, вздрогнув по привычке от мерзкого рёва старишины или дежурного по роте и переждав топот-гам салага и черпаков, я заворачивался поплотнее в одеяло, но сон теперь бежал моих глаз, даже если я пришёл с ночной смены и только-только завалился в постель. Я думал о Маше. Я о ней мечтал... И, понятно, едва дождавшись девяти часов, я опрометью бросался на 5-й этаж штабного подъезда. Я теперь охотно подменял своих сотоварищей по сантехнической службе во вторую и третью смены, так что почти каждый будний день имел возможность вплотную заниматься комсомольскими делами-заботами. Вот именно – будний! Суббота с воскресеньем начали превращаться для меня в подлинную пытку, пока...

Впрочем, я забегаю вперёд!

Повторяю, меня угнетала поначалу мысль-тревога, что я чересчур назойлив, надоедлив, докучлив и несносен. Я торчал в кабинётике Мариш Семёновны, что-то лепетал-общался, но всё украдкой заглядывал в глаза её, дабы захватить-замечить в них отблеск скуки и раздражения. Я бы, клянусь, нашёл тогда в себе силы скрутить себя, схватить, образно говоря, за шкурку новой моей моднячей гимнастёрки и вытащить из этого райско-комсомольского кабинета. Но в том-то и закавыка, в том-то и парадокс, что никак я отблеска такого в прекрасных глубоких глазах Мариш Семёновны уловить не мог и, с облегчением переведя незаметно дух, со взмокнувшей спиной продолжал что-то говорить-бормотать, жадно пожирая её взглядом и явно чувствуя всеми фибрами души и тела какие-то томительные флюиды, исходящие от неё. Если быть грубым и точным: в присутствии Маши, находясь от неё в двух-трёх метрах, через стол, я испытывал по накалу и температуре абсолютно то же самое, что с Любой в момент оргазма. Поэтому я даже и помыслить-представить боялся, что произойдёт-случится, если я прикоснусь хотя бы только к её руке...

А уж о поцелуе я и мечтать не смел.

Впрочем, я зачем-то начинаю флигарничать. Разумеется, уже вскоре я с душевным трепетом начал догадываться, что Марию Семёновну мои визиты и долгие сидения в её кабинётике-будуаре не так уж сильно тяготят. Само собой, разговоры наши со временем перестали ограничиваться комсомольско-дурацкими заботами. Мы нашли более волнующую тему – литература. Вот тут уж я мог показать-проявить себя в самом выигрышном свете! Обыкновенно, я не очень-то красноречив, особенно с женщинами, но лишь только разговор касался литературы – о, тут я почти мгновенно превращался в Цицерона, в Бояна, в Шехерезаду, в Соломона библейского. По крайней мере – в страстности тона. Я слюной начинал брызгать, когда говорил о литературе – вот до чего доходило. И можно представить себе моё, если можно так выразиться, восхищённое обалдение, когда выяснилось, что Маша не только любит и знает литературу (что в женщинах встречается не так уж часто), но она знает её профессионально, серьёзно, лучше меня. И закончила она к тому же библиотечный факультет института культуры. Я, читавший до этого по методу «что под руку попадёт» и в основном классику, вскоре целенаправленно поглощал журналы и книги, которые приносила

мне из дому Маша, всё самое-самое – «Беседы при ясной луне» Шукшина, «Живи и помни» Распутина, «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, «Сто лет одиночества» Маркеса, «Немного солнца в холодной воде» Саган, «Три товарища» Ремарка, «Сожженная карта» Кобо Абэ...

Но вскоре, несмотря на все наши жаркие разговоры-диспуты о литературе, я вполне убедился, что я боюсь Марию Семёновну. Много позже из трактата Стендаля «О любви» я вычитаю-узнаю, что патологическая робость в присутствии женщины есть первый признак настоящей любви. Да, да! По утверждению великого француза-любвеведа, одним из основных признаков, и самых точных, того, что вы полюбили, что вам не просто нравится эта женщина, а вы именно воспылали к ней любовью-страстью, этим признаком служит именно робость. И я ведь совсем забыл сказать, что Маша, Мария Семёновна была на три года старше меня, имела сына Павлика четырёх лет, муж её, старший лейтенант Ключев, командовал ротой в соседнем полку, и девичья её и тоже литературная фамилия – Гликберг (такова была настоящая фамилия поэта Саши Чёрного) – каким-то непонятным образом усиливала и уплотняла мою робость. Я звал её Марией Семёновной, она меня – по имени, Сашей, но тоже на «вы». И я, конечно же, втайне мечтал, чтобы как-нибудь, в пылу-разгаре разговора пустое «вы» горячим «ты» она, обмолвись, заменила...

Однажды, прошёл уже месяц со дня нашего знакомства, мы опять, забыв обо всём на свете, общались. Маша как раз принесла после обеда сборник рассказов Василия Макаровича Шукшина, о котором я до того только краем уха слыхивал, и, торопясь нас с ним свести-познакомить, вслух взялась читать мне:

РАСКАС

От Ивана Петина ушла жена. Да как ушла!.. Прямо как в старых добрых романах – сбегала с офицером.

Иван приехал из дальнего рейса, загнал машину в ограду, отомкнул избу... И нашёл на столе записку:

«Иван, извини, но больше с таким пеньком я жить не могу. Не ищи меня. Людмила»...

Маша уже знала, что дальше будет смешно, я же по первым строкам настроился на драму. Правда, слово «пеньк» меня уже удивило. Вскоре мы были вынуждены то и дело прерывать чтение, хохоча как безумные над «раскасом», который написал бедный деревенский Каренин в районку по горячим следам своей семейной трагедии.

Значит было так: я приезжаю – на столе записка. Я её не буду пириказывать: она там обзываться начала. Главное я же знаю, почему она сделала такой финт ушами. Ей все говорили, что она похожая на какую-то артистку. Я забыл на какую. Но она дурочка не понимает: ну и что? Мало ли на кого я похожий, я и давай теперь скакать как блоха на зеркале. А ей когда говорили, что она похожа она прямо щастливая становилась. А если сказать кому што он на Гитлера похожий, то што ему тада остаётся делать: хватать ружьё и стрелять всех подряд? У нас на фронте был один такой – вылитый Гитлер. Его потом куда-то в тыл отправили потому што нельзя так. Нет, этой всё в город надо было. Там говорит меня все узнавать будут. Ну не дура! Она вобщем то не дура, но малость чокнутая нащёт своей физиономии. Да мало ли красивых – все бы бегали из дому! Я же знаю, он ей сказал: «Как вы здорово похожи на одну артистку!» она конечно вся засветилась... Эх, учили вас учили гусударство деньги на вас тратила, а вы теперь сяли на шею обчеству и радёшеньки! А гусударство в убытке...

Эх, вы!.. Вы думаете если я шофёр, дак я ничего не понимаю? Да я вас наскрозь вижу! Мы гусударству пользу приносим вот этими самыми руками, которыми я счас пишу, а при стрече могу этими же самыми руками так засветить промеж глаз, што кое кто с неделю хворать

будет. Я не угрожаю и нечего мне после этого пришивать што я кому-то угрожал но при стрече могу разок угостить. А потому што это тоже неправильно: увидел бабёнку боле или мене ничего на мордочку и сразу подсыпался к ней. Увирую вас хоть я и лысый, но кое кого тоже мог бы поприжать, потому што в рейсах всякие стречаются. Но однако я этого не делаю. А вдруг она чья нибуть жена? А они есть такие што может и промолчать про это. Кто же я буду перед мужиков, которому я рога надстроил! Я не лиходей людям.

Теперь смотрите што получается: вот она вильнула хвостом, уехала куда глаза глядят. Так? Тут семья нарушена. А у ей есть полная уверенность, што она там наладит новую. Она всего навсего неделю человека знала, а мы с ей четыре года прожили. Не дура она после этого? А гусударство деньги на её тратила – учила. Ну, и где же та учёба? Её же плохому-то не учили... У ей между прочим брат тоже офицер старший лейтенант, но об ём слышно только одно хорошее. Он отличник боевой и политической подготовки...

И тут, как раз на этих строках «Раскаса» дверь без стука отворилась и в наш мир ввалился незнакомый мне старший лейтенант в парадной форме. Мы с Машей, по инерции смеясь, на него глянули. Старлей, не обратив на меня ни малейшего внимания, закричал Маше:
– Ну чего ты не звонишь-то? Что, забыла? Нам же к четырёх успеть надо!..

Улыбка с лица Маши сползла-исчезла, сменилась невольной досадой. И эта заметная смена её настроения вдруг тёплой волной радости колыхнулась внутри меня.

– Помню я, помню! – досадливо ответила она. – Ты бы прежде с человеком поздоровался...

Клюев (уж, конечно, я догадался!) удивлённо смерил меня взглядом сверху донизу. Я, впрочем, встал и даже принял-изобразил подчеркнuto некое подобие стойки «смирно». Он несколько ошарашено протянул:

– Здра-а-авствуйте, товарищ сержант!

– Здравия! Желаю! Товарищ! Старший! Лейтенант! – прогавкал бодро я.

И тут же краем глаза я увидел-заметил, как Маша поморщилась, сжала от досады кулачок, недоуменно на меня глянула. Вот те на! Значит, с подполковником Кротких такие шутки проходят и одобряются, а со старлеем Клюевым ни-ни? Но меня заклинило, меня понесло, меня потащило. Я набрал в лёгкие воздуху и ещё более дебильно отлаял:

– Секретарь комитета Вэ эЛ Ка Сэ эМ пятой роты войсковой части пятьдесят пять двести тринадцать сержант Николаев сверку комсомольских документов к Ленинскому зачёту закончил! Раз-з-зр-р-решите идти, товарищ старший лейтенант?!

– Идите, – огорошено ответил Машин муж, на полном серьёзе козыряя мне в ответ.

Я лихо сам себе скомандовал вслух: «Напрааа-во!», – шарахнулся-саданулся плечом о косяк так, что штукатурка посыпалась, вывалился из кабинета, спустился как в чаду на третий этаж, прыгающими пальцами еле справился с замком, взялся смолить-жечь сигареты одну за другой и метаться по тесной клетушке своей загромождённой радиокомнаты, шепча и вскрикивая то и дело: «Вот гадство!.. Ну и ну!.. Да-а!..» Самое противное было то, что я сам себе внятно не мог объяснить, с чего это я вдруг так взъерошился. И вообще, парень, какое ты имеешь право взъерошиваться? Ну с какого ты здесь припёку-то, а?..

Это случилось-произошло во вторник. Уже со среды я упорно, преодолев все препоны, взялся выходить на боевое сантехническое дежурство в первую – дневную – смену. Люба, глупышка, встрепенулась. Впрочем, я таки давал ей какие-никакие надежды-поводы: очень уж на душе было паршиво и хотелось участия, сочувствия и – пропади оно всё пропадом! – женской ласки. Любин мужик в воскресенье уматывал в командировку, а пока, в ожидании этого, мы с ней играли в жманцы-обниманцы по углам да целовались украдкой. Целовалась Люба, несмотря на нескольколетний супружеский стаж, неумело, плохо – жеманно.

Контора наша занимала подвал пятиэтажного жилого дома, в свободное от аварийных вызовов время я любил посидеть на свежем воздухе у подъезда на лавочке, читая книгу и вдыхая ароматы цветочных клумб. Если, разумеется, никто не мешал. В пятницу после обеда читать мне не давала Люба. Она сидела рядом, болтала без умолку и тормозила меня: ах, да как это мне читать не надоест, да как бы скорее воскресенье настало, да что если нам завтра, в субботу, где-нибудь встретиться... При этом бедная Любашиа натурально висла на моём плече, а, надо признаться, комплекции она была далеко не самой легкокрылой, в балерины бы мою Любанию точно не взяли...

Вдруг я резко откачнулся от неё, оттолкнулся и отодвинулся. И только уже сделав это, понял-осознал – почему: по тротуару шла-приближалась к нам Маша, Мария Семёновна! Я уже вздумал было зачем-то юркнуть, как нашкодивший щенок, в подъезд, в свой спасительный подвал, но Маша была уже страшно близко, уже смотрела на меня, и сначала удивление, а затем и радость (да-да, радость!) засветились поочерёдно на её лице.

– Саша?

Я хотел вскочить, но обнаружил, что уже давно сделал это, чуть было не бросил руку к пилотке, но вовремя опомнился, забормотал:

– Здравсте!.. Я вот тут... Мы тут дежуриим... Вот и Люба... Любовь Владимировна, она – мастер... Мы в первую смену дежуриим!.. Чтоб аварий не было!..

– Да? – спросила Мария Семёновна. Несмотря на раздрай внутри себя, я заметил её смущение и явную растерянность. – А я живу в этом доме... В первом подъезде... Я домой иду...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.